
Дж. М.
Кутзее
Осень
в Петербурге
Я – это я,
я прикован к себе
пожизненно.
ЛУЧШЕЕ
ИЗ ЛУЧШЕГО
КНИГИ
ЛАУРЕАТОВ
МИРОВЫХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРЕМИЙ

Осень в Петербурге
Джон Максвелл Кутзее

Аннотация
Джон Максвелл Кутзее. Осень в Петербурге
1. Петербург
2. Кладбище
3. Павел
4. Белая пара
5. Максимов
6. Анна Сергеевна
7. Матрена
8. Иванов
9. Нечаев
10. Дроболитная башня
11. Прогулка
12. Исаев
13. Перемена обличья
14. Полиция
15. Подполье
16. Печатный станок
17. Яд
18. Дневник
19. Пожары
20. Ставрогин

Аннотация

Федор Достоевский тайно приезжает из-за границы в Петербург и окунается в мир персонажей своих написанных и еще не написанных романов.

Точнейшее воссоздание топонимики и реалий Петербурга времен Достоевского. Тончайшее понимание причин безумия, охватившего людей и эпоху.

Джон Максвелл Кутзее
Осень в Петербурге

John Maxwell Coetzee
The Master of Petersburg

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Copyright © by J. M. Coetzee, 1994. By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 350 Fifth Avenue, Suite 5300 New York, NY 10118 USA.

© Ильин С. перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019

1
Петербург

Октябрь 1869 года. По петербургской улице, лежащей невдалеке от Сенного рынка, медленно едут дрожки. Перед высоким доходным домом извозчик натягивает вожжи.

Сидящий в дрожках господин с сомнением оглядывает дом.

— Ты уверен, что это здесь? — спрашивает он.

— Шестьдесят третий нумер по Свечной, как приказывали-с.

Господин соступает на мостовую. Это человек на исходе средних лет, бородатый, сутулый; высокий лоб и густые брови сообщают ему выражение спокойное и сосредоточенное. На нем темный сюртук несколько старомодного покроя.

— Подожди меня, — говорит он извозчику.

За ободранными, облупившимися фасадами старых домов в окрестностях Сенной еще сохраняются остатки прежней изысканности, хоть большею частью дома эти вмещают теперь меблированные комнаты, сдаваемые мелким чиновникам, студентам и мастеровым. В проемах

между домами выросли, местами стена в стену, кривоватые деревянные постройки этажа где в два, где в три — муравейники комнат, комнаток, комнатушек, в которых ютится самая жалкая беднота.

Такие вот строения и подпирают с обоих боков шестьдесят третий нумер, дом из старых. Паутина балок и подпорок пересекает посередке его фасад, отчего дом кажется взятым деревянными строениями в плен. Птицы понавили гнезд в изгибах его пилястров, запятнав пометом фасад.

Несколько ребятишек, забравшихся на подпорки, чтобы кидать оттуда камни в уличные лужи и затем, спрыгивая на мостовую, подбирать их, прерывают игру и разглядывают чужака. Трое из них, те, что поменьше, — мальчики, четвертая, видимо, главная, — девочка со светлыми волосами и замечательно темными глазами.

— Добрый вечер, — говорит он детям. — Не знает ли кто из вас, где проживает Анна Сергеевна Коленкина?

Мальчики не отвечают, смотрят насупленно, неприступно. Девочка же, поколебавшись, раскрывает, роняя камни, ладонь.

— Идемте, — говорит она.

На третьем этаже шестьдесят третьего нуме-

ра прямо с лестничной площадки открывается длинный проход. Следуя за девочкой, господин идет темным, кривым, пропахшим капустой и вареной говядиной коридором мимо открытых дверей уборных к двери закрытой, выкрашенной в серую краску. Девочка пинком растворяет ее.

Они попадают в длинную, низкую комнату с тусклым светом из единственного окна, пробитого в стене на высоте головы. Тяжелые, как бы парчовые обои на длинной стене словно усугубляют мрак. Женщина в черном встает, поворачиваясь к нему. Ей за тридцать, те же темные глаза и густые брови, что у девочки, только волосы черные.

— Простите, что вхожу к вам так, без доклада, — говорит он. — Мое имя… — Он колеблется. — Сколько я знаю, сын мой был вашим жильцом.

Он извлекает из чемодана нечто, обернутое в белую салфетку, разворачивает. Это портрет мальчика, дагерротип в серебряной рамке.

— Здесь его можно узнать, — говорит он, не давая портрета ей в руки.

— Это Павел Александрович, мама, — шепчет девочка.

— Да, он снимал у нас комнату, — говорит женщина. — Мне очень жаль.

Наступает неловкое молчание.

— Он жил у нас с апреля, — продолжает она. — Вещи его так и остались в комнате, мы ничего не трогали, полиция только забрала кое-что. Желаете взглянуть?

— Да, — хрипло отвечает он. — Если сын вам задолжал, я, разумеется, заплачу.

В комнате сына, хоть это, в сущности говоря, клетушка, отгороженная от остальных жилых покоев, имеется собственный вход и глядящее на улицу окно. Кровать опрятно застлана; что до иной обстановки, она состоит из комода, стола с лампой и стула. В изножье кровати лежит чемодан с тиснеными инициалами П. А. И. Чемодан знакомый — он сам подарил его Павлу.

Он подходит к окну, выглядывает. Дрожки так и стоят на улице.

— Не окажешь ли любезность? — обращается он к девочке. — Скажи извозчику, пусть едет, и заплати ему.

Девочка берет у него деньги и уходит.

— Если вы не против, я хотел бы побыть здесь один, — говорит он женщине.

Дождавшись, пока она выйдет, он первым делом откидывает на постели покрывало. Простыни свежие. Он опускается на колени и зарывается в

подушку лицом — нет, ничего, только запах мыла и солнца. Он выдвигает ящики комода один за другим. В ящиках пусто.

Он снимает с кровати чемодан. Поверх прочих вещей в нем лежит старательно сложенная белая сюртучная пара. Он прижимается к ней лбом. И наконец улавливает чуть слышный запах сына. Он впивает этот запах, думая: дух сына, войди в меня.

Придвинув к окну стул, он садится и сидит, глядя на улицу. Наступили сумерки, темнеет. Улица пустынна. Время тянется, мысли его остаются недвижными. *Думы* — вот самое верное слово, приходит ему в голову. Тяжесть в голове, тяжесть в глазах — точно свинец налили в душу.

Женщина, Анна Сергеевна, и дочь ее ужинают, сидя за столом против друг дружки, между ними стоит лампа. Когда он входит, обе замолкают.

— Вам известно, кто я? — спрашивает он.

Она поднимает на него взгляд, ожидая продолжения.

— Я хочу сказать, знаете ли вы, что я не Исаев?

— Да, Павел рассказал нам свою историю.

— Прошу вас, ужинайте, не обращайте на меня внимания. Вы позволите оставить пока чемодан у вас? Я заплачу до конца месяца. Собственно, я,

с вашего разрешения, заплачу до конца ноября. Я хочу сохранить комнату за собой, если она никому не обещана.

Он протягивает ей деньги, двадцать рублей.

— Вы не станете возражать, если я буду по временам заходить к вам под вечер? Днем кто-нибудь дома бывает?

Она мнется. Обменивается взглядом с девочкой. Уже, подозревает он, появилась у нее задняя мысль. Конечно, лучше будет, если он заберет чемодан и больше у них не появится, тогда и о мертвом постояльце можно будет забыть и комната освободится. К чему ей этот скорбный человек, словно бы источающий мрак? Ан поздно — деньги были предложены ей и ею приняты.

— Матреша после полудня дома, — негромко произносит она. — Я дам вам ключ. Только, я вас попрошу, проходите туда через отдельный вход. Дверь между комнатой жильца и нашей не запирается, но мы ею обычно не пользуемся.

— Прошу извинить. Я не подумал об этом.

Матрена. С час примерно он бродит по знакомым улицам Сенного околотка. Потом, перейдя Кокушкин мост, возвращается в трактир, где еще утром занял комнату, назвавшись Исаевым.

Голода он не испытывает. Не раздеваясь, ло-

жится, скрещивает на груди руки и пытается заснуть. Но мысли его упрямо возвращаются в шестьдесят третий нумер, в комнату сына. Занавески раздернуты. Луна освещает постель. Вот он, стоит, трудно дыша, у двери, не отрывая глаз от стула в углу, ожидая, когда мрак сгустится, обратясь во мрак иного рода — мрак присутствия.

Он шепотом повторяет имя сына, стараясь заклясть его. Но кого — призрак, себя самого? На ум приходит Орфей, шаг за шагом отступающий пятясь, шепчущий имя умершей женщины, которую он выманивает из глубин ада; имя жены в погребальных одеждах, идущей, выставив перед собою, точно сомнамбула, вялые руки и не отрывая от него мертвых, невидящих глаз. Ни флейты, ни лиры, только слово, одно только слово, повторяемое раз за разом. Когда смерть разрешает от всех уз, остается лишь имя. Крещение: совокупление души с именем, которое она понесет с собой в вечность. Едва дыша, он снова складывает слоги: «Павел».

Голова начинает кружиться.

— Я сейчас пойду, — шепчет он, или ему кажется, что шепчет. — Но я вернусь.

«Я вернусь» — обещание, данное им, когда он впервые отвез мальчика в школу. «Я тебя не бро-

шу». И бросил.

Он засыпает. Во сне он летит вдоль долгого-долгого водопада в омут и отдается падению.

2
Кладбище

Они встречаются на переправе. Он раздражается, увидев в руках Матрены цветы. Цветы маленькие, белые, скромные. Были ль у Павла любимые цветы, он не знает, но розы, чего бы ни стоили они в октябре, алые, как кровь, розы — вот самое меньшее, чего заслуживает его сын.

— Я подумала, что мы сможем их посадить, — говорит женщина, словно прочитав его мысли. — Вот, и совок с собой взяла. Это лядвенец, он цветет поздно.

Действительно, видит он, корни цветов обернуты влажной тряпицей.

Маленький паром перевозит их на Елагин, которого он не посещал уже много лет. Две старухи в черном да они — вот и все пассажиры. День стоит холодный, мглистый. При их приближении по пристани принимается, поскуливая, метаться туда-сюда седой искалеченный пес. Паромщик замахивается на него багром, и пес отбегает на безопасное расстояние. Собачий остров, думает он; не целые ли стаи их кроются между деревьев,

ожидая, когда удалятся скорбящие, чтобы можно было разрыть еще мягкую землю?

В сторожку привратника заходит для наведения справок Анна Сергеевна, которую он все еще зовет про себя квартирной хозяйкой, — сам он ожидает снаружи. Потом они долго идут по аллеям мертвых. Он начинает плакать. Почему именно сейчас? — думает он, сердясь на себя. И все же он, пожалуй, рад слезам, их мягкая пелена отделяет его от внешнего мира.

— Вот здесь, мама! — окликает Матрена.

Перед ними могильный холмик, один из многих холмиков с воткнутыми в них крестами из колышков, к которым прибиты дощечки с написанными краской номерами. Он пытается сосредоточиться на одном-единственном номере, на *его* номере, но, едва завидев эти семерки и четверки, ловит себя на мысли: «Никогда больше не стану ставить на семь».

Вот самая та минута, когда ему следует пасть на землю ниц. Но все происходит так вдруг, и земляной холмик этот выглядит настолько чужим, что сердце его не отзывается никаким содроганием чувств. Да и не питает он доверия к череде безразличных рук, через которые прошло тело его сына, пока сам он был еще в Дрездене и ведать ни о чем

не ведал, точно баран. Он не готов пока принять роковую связь юноши, продолжающего жить в его памяти, с именем на свидетельстве о смерти и с этим вот номером на дощечке. *Преходящие,* думает он: окончательных, верных номеров не бывает, все преходящие, иначе игра давно бы закончилась. А так колесо крутится, номера приходят в движение, все снова будет хорошо.

Объемом и даже очертаниями холмик схож с лежащим навзничь телом. Он, собственно, и состоит не из чего иного, как из сырой земли, вытесненной деревянным ящиком с рослым молодым человеком внутри. Что-то такое есть в этом, чего он не способен додумать, что-то отталкивающее от себя. Мысль эту замещают саднящие воспоминания о том, чем он занимался в Дрездене, в то время как здесь, в Петербурге, бесчувственное тело тащили в морг, нумеровали, забивали в ящик, везли по городу, опускали в землю. Почему в дрезденском воздухе не явилось и тени предвестия? Или до́лжно погибнуть толпам, прежде чем небеса содрогнутся?

На одной из картин, вновь нахлынувших на него, — он сам в ванной комнате на Лерхенштрассе, подстригающий, глядя в зеркало, бороду. Мерцают латунные краны умывальника, лицо

поглощенного делом человека в зеркале кажется лицом незнакомца из прошлого. Вот я и постарел, думает он. Приговор был уже вынесен, и отправленное мне письменное уведомление о нем все приближалось, переходя из рук в руки, да только я ничего о том не знал. «Радость жизни твоей позади» — вот что значилось в приговоре.

«Квартирная хозяйка» выкапывает маленькую лунку в изножье холмика.

— Позвольте, — говорит он, взмахивая рукой, и она отступает.

Расстегивая пальто, расстегивая сюртук, он опускается на колени и неловко клонится вперед, пока не ложится ничком на землю, вытянув руки над головой. Теперь он плачет безудержно, из носу у него течет. Он трется лицом о мокрую землю, зарываясь в нее.

Когда он поднимается, земля остается в его бороде, в бровях, в волосах. Девочка, на которую он не обращает внимания, изумленно глядит на него. Он отряхивает лицо, сморкается, застегивается. Что за жидовский спектакль! — думает он. Да пусть ее смотрит! Пусть видит, что человек не камень! Пусть знает, что нет у него предела!

Некая искра пролетает из его глаз в ее; она в замешательстве отворачивается, прижимается

к матери. Назад, в гнездышко! Страшная злоба изливается из него на все живое, а всего пуще на живых детей. Если бы здесь случился сейчас новорожденный младенец, он вырвал бы его из материнских рук и размозжил голову его о камень. Ирод, думает он: как я понимаю Ирода! Да истребится всякий род!

Он поворачивается к ним спиной и уходит. Скоро, оказавшись за пределами новой части кладбища, он бродит между старых надгробий, средь давних мертвецов.

Когда он возвращается, цветы уже посажены.

— И кто станет за ними ухаживать? — угрюмо спрашивает он.

Женщина пожимает плечами. Не ей отвечать на этот вопрос. Теперь его черед, это он должен сказать: «Я буду приходить сюда каждый день», или: «Бог о них позаботится», или же: «Никто за ними ухаживать не станет, они погибнут, и пусть их гибнут».

Мелкие белые цветочки весело колышутся на ветру.

Он стискивает руку женщины.

— Его здесь нет, нет, — говорит он, и голос его ломается.

— Конечно, нет, ведь он не умер, Федор Ми-

хайлович.

Тон ее будничен, ободряющ. Более того, в эту минуту она полна материнских чувств не только к дочери, но и к нему, и к Павлу.

Руки у нее маленькие, пальцы тонки и кажутся детскими, но тело округлое. Нелепо — он рад был бы склонить голову к ней на грудь, ощутить эти пальцы в своих волосах.

Невинность рук, вечно рождающаяся заново. Мелькает воспоминание: прикосновение руки, такое интимное в темноте. Но чьей? На свет дневной руки являются, как животные, без стыда, без воспоминаний.

— Я должен записать номер, — говорит он, избегая ее взгляда.

— У меня записан.

Откуда вдруг взялось вожделение? Острое, пылкое: ему хочется схватить эту женщину, заволочь ее за сторожку привратника, задрать ей подол и совокупиться с нею.

Он думает о том, как на поминках люди накидываются на еду и вино. В своем роде восторг, бахвальство пред лицом смерти: что, нас-то не получила!

Они возвращаются к пристани. Пес с опаской — за ними. Матрена хочет его приласкать, но

мать ей запрещает. Что-то неладное с этим псом: по спине идут от хвоста открытые, воспаленные язвы. Время от времени пес тихо повизгивает или вдруг садится и вгрызается в струпья.

Завтра я ворочусь, обещает он, приду один, мы поговорим. В мысли о возвращении, о том, как он переправится через реку, отыщет дорогу к могиле сына и останется наедине с ним в тумане, таится глухое обещание приключения.

3
Павел

Он сидит в комнате сына, разложив на коленях белую пару, тихо дыша, стараясь освободиться от себя, стараясь вызвать дух сына, определенно еще не покинувший этих пределов.

Проходит время. Из смежной комнаты доносятся сквозь перегородку приглушенные голоса женщины и девочки, звуки, указывающие, что там накрывают на стол. Он откладывает сюртучную пару, легонько стукает в дверь. Голоса обрываются. Он входит.

— Я сейчас пойду, — говорит он.

— А мы, видите, ужинать садимся. Останьтесь, откушайте с нами.

Пищу она предлагает простую: суп, картошка с маслом и солью.

— Как вышло, что сын стал вашим жильцом? — спустя несколько времени спрашивает он. Он по-прежнему старательно называет покойного сыном, зная, что стоит ему попытаться произнести имя, как его затрясет.

Женщина мешкает с ответом, и он понимает

почему. Она могла бы сказать: «Павел был приятный молодой человек, вот мы его и приняли». Но слово «был» мешает ей, оно словно валун поперек тропы. Она не может, глядя ему в лицо, и выговорить это голое слово — ищет окольных путей.

— Его рекомендовал прежний жилец, — произносит она наконец. Что ж, тоже выход.

Она поражает его своей сухостью, сухостью бабочкина крыла. Словно между кожей ее и нижней юбкой, между кожей и черными чулками, которые она, без сомнения, носит, лежит тонкий покров белого пепла, так что если спустить ей платье с плеч, дальше оно уже само соскользнет на пол.

Он хотел бы увидеть ее обнаженной, эту женщину, в последнем цвету ее молодости.

Образованной ее, разумеется, не назовешь, и все же редко доводилось ему слышать столь чистую русскую речь. Словно птица бьется во рту: мягкие перья, мягкие взмахи крыльев.

В дочери нет и следа мягкой сухости матери. Напротив, в ней ощущается нечто текучее, нечто от юной лани, доверчивой, но пугливой, тянущейся, чтобы обнюхать незнакомую руку, и уже подобравшейся, чтоб отмахнуть в сторону. Как это вышло, что мать, столь темноволосая, по-

родила такую белокурую дочь? И при всем том знаки родства их бросаются в глаза: маленькие, почти бесформенные пальчики, темные глаза, блестящие, как у византийских святых, чистые лепные очертания лба, даже общее выражение странной переменчивости.

Замечательна эта способность ребенка сообщать совершенство чертам, которые в родителе его начинают казаться слабой копией!

Девочка на миг поднимает глаза, встречается с его изучающим взглядом и в смущении отворачивается. Его охватывает гневный порыв, желание схватить ее за руку и с силой встряхнуть. «Смотри на меня, дитя! — хочет выкрикнуть он. — Смотри и учись!»

Он роняет нож на пол. И с чувством благодарности сгибается, нащупывая его. Ему все кажется, будто с лица его содрана кожа, будто он против собственной воли принуждает своих собеседниц смотреть на жуткую кровоточащую маску.

Женщина вновь нарушает молчание.

— Матрена с Павлом Александровичем были большие друзья, — сдержанно, но твердо произносит она. — Он ведь учил тебя, верно?

— Да, по-французски и по-немецки. Больше по-французски.

Матрена: имя ей не подходит. Имя старухи, старушонки со сморщенным, точно слива, личиком.

— Я буду рад, если ты возьмешь себе что-нибудь из его вещей, — говорит он. — На память.

И снова девочка поднимает на него недоуменный взгляд, изучая его, как собака изучает незнакомца, вряд ли даже слыша, что он говорит. Что с ней такое? Ответ находится сразу: ей никак не удается представить меня отцом Павла. Она пытается разглядеть во мне Павла, да все никак не может. За этой мыслью приходит другая: для нее Павел еще не умер. Он продолжает жить в ней, дышать сладким дыханием юности. А моя чернота, это заросшее лицо, эта костлявость, должно быть, так же отвратительны ей, как сама старуха с косой. Смерть, с ее костлявыми бедрами, с зубами в полвершка, с коленками, лязгающими на ходу.

Ему не хочется рассказывать о сыне. Слушать рассказы о нем — да, но не рассказывать. Арифметически говоря, после смерти Павла прошло десять дней. И с каждым из этих дней воспоминания о нем — еще плывшие, быть может, по воздуху, точно осенние листья, — втаптывались в грязь или, подхваченные ветром, возносились

в слепящие небеса. Только он один и желал собрать и сохранить их. Все остальные держались смертного чина: сначала скорбь, потом забвение. Сказано ведь: не будь забвения, мир быстро обратился бы в огромную библиотеку. Но даже мысль о том, что Павел будет забыт, приводит его в ярость, обращает в старого быка, гневливого, злого, опасного.

Ему хочется слушать рассказы о Павле. И девочка, точно случается чудо, приступает к такому рассказу.

— Павел Александрович, — она бросает взгляд на мать, ища подтверждения, что ей дозволено произносить это мертвое имя, — говорил, что пробудет в Петербурге еще недолго, а после уедет во Францию.

Девочка умолкает. Он раздраженно ждет продолжения.

— Почему ему так хотелось во Францию? — спрашивает она, обращаясь теперь к нему одному. — Что в ней такого, во Франции?

Во Франции?

— Ему хотелось не столько во Францию, сколько прочь из России, — говорит он. — Молодому человеку вообще свойственно гневаться на все, что его окружает. Гневаться и на отечество свое,

потому что отечество кажется ему устарелым, отсталым. Новые идеи, новые мысли увлекают его. Он думает, что во Франции, или в Германии, или в Англии его ожидает будущее, которого собственная его страна не даст ему, потому что слишком глупа и безрадостна.

Девочка хмурится. Он говорит «Франция», «отечество», а она слышит нечто иное, нечто скрытое за словами — озлобление.

— Образование мой сын получил скудное, — говорит он, обращаясь уже не к дочери, а к матери. — Мне пришлось раз за разом переводить его из одной школы в другую. Причина тут простая: он не умел вставать поутру. Его невозможно было добудиться. Я, может статься, слишком уж напираю на это. Но и то сказать, не закончив школу, в университет не поступишь.

И ведь нашел же о чем говорить в такое время! Тем не менее он, снова обращаясь к Матрене, продолжает:

— А французский язык его был далеко не хорош, да ты, верно, и сама это заметила. Быть может, он для того и хотел ехать во Францию — подучить французский.

— Он очень много читал, — говорит мать. — Случалось, что лампа у него так и горела всю

ночь.

Голос ее остается негромким, ровным.

— Мы не возражали. Он был очень серьезный молодой человек. Мы обе любили Павла Александровича, не правда ли?

Лицо ее, обращенное к дочери, освещает улыбка, которая кажется ему похожей на ласку.

Был. Вот и сказала.

Она сдвигает брови.

— Но вот чего я все-таки не понимаю…

Наступает неловкое молчание. Он не пытается его разрядить. Напротив, он ощетинивается, будто оберегающий своего детеныша волк. Остерегись, думает он, не подвергай себя опасности, не произноси ни слова ему в осуждение! Я — его мать и отец, я его всё и даже более всего! Он готов с громким криком броситься на защиту — но на защиту чего? И кто тот враг, которому он изготовился бросить вызов?

Из глубины его горла прорывается звук, которого он больше не в силах сдержать, — протяжный стон. Он закрывает руками лицо, слезы текут по пальцам.

Он слышит, как женщина встает из-за стола. Он ждет, что и девочка уйдет тоже, но она не уходит.

Погодя он вытирает глаза, сморкается.

— Прости, — говорит он девочке, по-прежнему сидящей напротив, склонив над тарелкой голову.

Он уходит в Павлушину комнату. Прости? Нет, правда в том, что никакой вины он за собою не знает. Напротив, его душит воспаленный гнев на всякого, кто остался жить после смерти его ребенка. И прежде всего на эту девчонку, которую он готов разорвать в куски за одну лишь кротость ее.

Он прилегает на кровать, складывает на груди руки, учащенно дышит, стараясь изгнать беса, который его одолевает. Он сознает, что походит больше всего на труп, что этот его так называемый бес, быть может, не что иное, как собственная его душа, впустую бьющая крыльями. Но в продолжающемся течении жизни ощущается в эту минуту нечто тошное. Лучше быть мертвым. Более того — уничтоженным, истребленным.

Что до жизни потусторонней, в нее он не верит. Он полагает, что вечность ему предстоит коротать на берегу какой-то реки, среди бесчисленного скопища других мертвых душ, ожидающих барки, которая не приплывет никогда. Воздух будет

холодным, сырым, черные воды будут плескать о берег, одежды истлеют на нем и спадут к ногам, и сына он больше никогда не увидит.

На холодных скрещенных на груди пальцах он сызнова пересчитывает дни. Десять. Стало быть, вот что ощущаешь по прошествии десяти дней.

Поэзия могла бы вернуть сына назад. В нем бродит чувство поэмы, которая смогла бы сделать это, ощущение музыки ее. Но он не поэт, скорее собака, потерявшая кость и теперь роющаяся в земле наугад, то там то сям.

Он ждет, когда под дверью погаснет свет, затем тихо покидает квартиру и возвращается в свое пристанище.

Ночью ему снится сон. Он плывет под водой. Синеватый, тусклый свет. Движется он плавно, поворачивает легко и изящно; шляпы на голове нет; в черном своем сюртуке он ощущает себя черепахой, огромной старой черепахой в ее прирожденной стихии. Вода над ним зыблется, но здесь, в глубине, все спокойно. Он плывет между пучков подводной травы, вялые щупальца водорослей поглаживают его плавники, хотя плавники ли это?

Он знает, что ищет. Плывя, он по временам открывает рот и испускает нечто подобное крику

или призыву. При каждом из них рот заполняет вода, каждый произнесенный им слог заменяется слогом воды. Он все грузнеет, грузнеет, и в конце концов грудь его начинает взрывать донный ил.

Павел лежит на спине. Глаза его закрыты. Волнуемые течением волосы мягки, как у младенца.

Последний вопль, похожий скорее на лай, вырывается из черепашьего горла. Он устремляется к юноше. Он хочет поцеловать его лицо, но, приникая к губам сына, он уже не питает уверенности, что это поцелуй, а не укус.

Тут он просыпается.

Утро он, повинуясь старой привычке, проводит за столиком в своей комнате. Когда приходит, чтобы прибраться, служанка, он взмахом руки отсылает ее. Но на бумаге так и не возникает ни единого слова. Нет, это не паралич. Сердце его бьется ровно, ум ясен. Он готов в любой миг взять перо, и тогда бумагу покроют слова. И все-таки он боится, что написанное может оказаться творением безумца — отвратительным, непристойным, бешеным, и так страница за страницей. Он думает о безумии, струящемся по жилам его правой руки, стекающем на бумагу с кончиков его пальцев, с пера. Безумие льется ровным потоком, так что ему не приходится даже окунать

перо в чернила ни разу. То, что изливается на бумагу, — это не кровь, не чернила, но нечто едкое, черное, отдающее на свету в противную прозелень. Оно не высыхает на странице, и, если провести по нему пальцем, получишь ощущение сразу и жидкостное, и электрическое. *Так* написанное сможет прочесть и слепой.

После полудня он возвращается на Свечную, в комнату Павла. Он закрывает внутреннюю, ведущую в квартиру дверь, подпирает ее стулом. Затем расправляет на кровати белую пару. При дневном свете видно, как замызгались манжеты. Он внюхивается в подмышки — резкий запах, не ребенка — мужчины. Снова и снова втягивает он в себя этот запах. Сколько раз его можно будет вдохнуть, прежде чем он иссякнет? Если поместить сюртук в стеклянный ящик, удастся ли сохранить и запах тоже?

Он раздевается, облачается в костюм Павла. Сюртук великоват, да и брюки слишком длинны, и все же он не ощущает себя шутом.

Он ложится, складывает на груди руки. Поза театральна, но он готов повиноваться любому позыву, куда бы тот его ни привел. Хотя, в сущности, он ни в какие позывы не верит.

Ему представляется Петербург, широко рас-

кинувшийся под низкими, безжалостными звездами. По небу расстелен свиток со словом, написанным древнееврейскими буквами. Он не может прочесть его, но знает, что в нем — осуждение, проклятие.

За сыном замкнулись врата, окованные семикратно железными полосами. Открыть их — вот труд, возложенный на него.

Мысли, чувства, видения. Верит ли он им? Они приходят из глубины его сердца, но разумных причин для доверия сердцу существует не больше, чем причин для доверия разуму.

Я отступаю, думает он, непонятно откуда, непонятно куда, и когда отступление закончится, что останется от меня?

Он представляет себе, как возвращается назад, в яйцо, по крайности во что-то такое же гладкое, прохладное, серое. Нет, может быть, не яйцо: возможно, это душа, возможно, так вот душа-то и выглядит.

Что-то шуршит под кроватью. Мышь, что ли, отправилась по своим делам? Пусть ее. Он переворачивается на живот, натягивает белый сюртук на лицо, вдыхает запах.

С того дня, как пришло известие о смерти сына, что-то все угасает в нем, что-то, обозначаемое им

словом «крепость». Это ведь я умер, думает он; или, вернее, я умер, а смерть моя где-то подзадержалась. Он чувствует, что тело его сохраняет силу, здоровье, что добровольно оно не сдастся. Грудь словно бочка с прочными скрепами. Сердце — еще долго способное биться. И тем не менее он вырван из времени человеческого. Поток, который нес его, продолжает движение вперед, поток сохранил направление, даже цель, однако целью этой уже не является жизнь. Мертвый поток тащит его мертвыми водами.

Он засыпает. Просыпается он в темноте, посреди безмолвного мира. Зажигает спичку, пытаясь собраться с разбредшимися мыслями. За полночь. Где же это он был?

Он забирается под покрывало и погружается в урывчатый сон. Поутру, направляясь в уборную, смрадный, всклокоченный, он сталкивается с Анной Сергеевной. На ней платочек, большие боты, ни дать ни взять торговка с рынка. Она глядит на него с изумлением.

— Я заснул, очень устал за день, — объясняет он.

Впрочем, причина ее изумления не в этом. Причина в белом костюме, которого он так и не снял.

— Если не возражаете, я поживу до отъезда в комнате Павла, — продолжает он. — Всего несколько дней.

— Сейчас говорить об этом не время, — отвечает она. — Я спешу.

Ясно, что предложение ей не по душе. Она не дает согласия. Да только он заплатил, и тут уж она бессильна.

Это утро он проводит за столом в комнате Павла. Он уже не притворяется, будто занят сочинительством. Мысли его устремлены к смертной минуте Павла. И невыносимейшая среди них — мысль о том, что в последнюю, в малейшую долю последнего мига падения Павел отчетливо сознавал, что ему уже не спастись, что он погиб. Он хочет верить, что от этого сознания, более ужасного, чем даже сама гибель, Павла защитили стремительность, смятение полета, способность разума дурманить себя, защищаясь от всего, что в огромности своей невыносимо. Всем сердцем он жаждет уверовать в это. И в то же самое время понимает, что жаждет этой веры, дабы одурманить себя и защититься от сознания того, что Павел, падая, сознавал все.

В такие минуты он уже не отличает себя от Павла. Они сливаются в одного человека, и че-

ловек этот — ни больше ни меньше как мысль: Павел, мыслящий в нем, он, мыслящий в Павле. Мысль сохраняет Павла живым, заставляя его повиснуть в воздухе.

Вот от чего хочет он защитить своего сына — от знания, что тот мертв. Пока я живу, думает он, пусть я буду тем, кто знает! Каких бы движений воли это ни требовало, пусть именно я буду рассекающим воздух мыслящим существом.

Сидя с закрытыми глазами и стиснутыми кулаками за столом, он пытается оградить Павла от смертельного знания. Он воображает себя Тритоном с пьяцца Барберини в Риме, тем, что прижимает к губам раковину, из которой вечно бьет хрустальная струя. День и ночь он вдыхает жизнь в воду. Отлитые в бронзе жилы на шее его напряжены до звона.

4
Белая пара

Наступил ноябрь, лег первый снег. Небо наполнили стаи птиц, летящих на юг.

Он перебрался в комнату Павла и за несколько дней влился в жизнь этого дома. Дети больше не прерывают игр, чтобы оглядеть его, проходящего мимо, но голос все еще понижают. Они знают, кто он. А кто он? Неудачник, отец неудачника.

Каждый день он повторяет себе, что должен поехать на Елагин навестить могилу. Однако не едет.

Он пишет в Дрезден, жене. Письмам его, полным заверений, недостает истинного чувства.

Утра он проводит в комнате, совершенно пустые утра, что, впрочем, понемногу начинает доставлять ему разлагающее, мертвящее удовольствие. После полудня он бродит по улицам, избегая близких к Мещанской и Вознесенскому проспекту мест, где его могут узнать, сидит по часу в чайной, всегда одной и той же.

В Дрездене он пристрастился к чтению русских газет. Но теперь интерес к наружному миру

утрачен. Его мир сузился и целиком умещается у него в груди.

Чтобы не досаждать Анне Сергеевне, он возвращается на квартиру лишь после наступления сумерек. Пока его не зовут к ужину, он тихо сидит в комнате, принадлежащей и не принадлежащей ему.

Он сидит на кровати, разложив на коленях белую пару. Никто его здесь не видит. Ничто не переменилось. Он ощущает идущие от сердца его к сердцу сына нити любви так явственно, почти физически, как если б они свились в веревку, которую можно потрогать руками. Он чувствует, как эта веревка тянет и выкручивает его сердце. Он громко стонет. «Да!» — шепчет он, приветствуя боль, ему хочется, чтобы выкручивание длилось и дальше.

Дверь за его спиной отворяется. Сминая руками одежду Павла, он испуганно оборачивается, сгорбленный, безобразный, со слезами на глазах.

— Хотите поесть? — спрашивает девочка.

— Спасибо, я лучше побуду сегодня один.

Погодя она возвращается.

— Может быть, чаю? Я могу принести.

Она приносит чайник, сахарницу, чашку, торжественно расставленные по подносу.

— Это Павла Александровича костюм?

Он откладывает сюртучную пару в сторону, кивает.

Матрена стоит перед ним на расстоянии вытянутой руки, наблюдая, как он пьет чай. Его в который раз поражают чистые линии лба и скул, темные, влажные глаза, темные брови и белокурые, почти льняные волосы. Он ощущает прилив чувств противуположных, как будто две волны плещут одна о другую: потребность защитить эту девочку и потребность наотмашь ударить ее за то, что она жива.

Хорошо, что я прячусь, думает он. Такому, как сейчас, мне среди людей делать нечего.

Он ждет, когда Матрена что-нибудь скажет. Ему хочется услышать ее голос. Конечно, предъявлять требования к ребенку — поступок непозволительный, но он их все-таки предъявляет. Он поднимает на нее взгляд. Ничего прикровенного нет в этом взгляде. Полная обнаженность.

Ей удается выдержать этот взгляд один только миг, затем она отворачивается, неуверенно отступает, приседает в странном, неловком реверансе и выскакивает из комнаты.

Он сознает, даже с самого начала этого эпизода, что не забудет его и, быть может, когда-нибудь

вставит, переиначив, в одну из своих книг. Нечто подобное стыду пронзает его — стыду, впрочем, поверхностному и недолгому. Сначала в сочинениях его, а там и в жизни стыд, похоже, утратил былую свою силу, сменившись пустым, безнравственным безволием, которого никакие крайности не страшат. Вот как если бы он видел краем глаза тучи, летящие на него с ужасающей скоростью грозовые тучи. Они способны смести все, что преградит им путь. И он испуганно, но тоже и возбужденно ждет, когда разразится гроза.

В одиннадцать по его часам он без предуведомления выходит из комнаты. Ниша, в которой спят Матрена с матерью, занавешена, но Анна Сергеевна еще не легла, она сидит за столом и что-то шьет при свете лампы. Он переходит комнату и садится напротив нее.

Ловкие пальцы, точные движения. В Сибири он выучился шить, нужда заставила, но не с таким плавным изяществом. В его пальцах игла выглядит диковиной, стрелою из Лилипутии.

— Свет, пожалуй что слабоват для такой тонкой работы, — негромко произносит он.

Она наклоняет голову, как бы говоря: «Я слышу», но также: «Что ж тут поделаешь?»

— Матрена — единственное ваше дитя?

Она взглядывает ему прямо в лицо. Ему нравится эта прямота. Нравятся ее глаза, нимало не ласковые.

— У нее был братик, но он умер совсем маленьким.

— Значит, вы знаете.

— Нет, не знаю.

Что она хочет сказать? Что смерть младенца сносится легче? Она не объясняет.

— Если позволите, я куплю вам лампу посильнее. Грех так рано портить глаза.

Она снова кивает, словно отвечая: «Спасибо за участие, но я не стану ловить вас на слове».

Так рано: а *он* что хотел этим сказать?

Он уже несколько времени ясно сознает, что не станет удерживать слов, которые приходят следом.

— Меня мучает потребность поговорить о сыне, — произносит он, — а еще пуще — послушать, как о нем говорят.

— Он был милым юношей, — отзывается она. — Жаль, что я знала его так недолго. — И словно поняв, что этого мало: — Обычно он что-нибудь читал Матрене перед сном. А она так целый день ждала этого. Они очень нежно относились друг к дружке.

— А что они читали?

— Помнится, «Золотого петушка», Крылова. Заучивали французские стихи. Она и посейчас помнит одно-два стихотворения.

— Хорошо, что у вас в доме есть книги. — Он поводит рукой в сторону полки, на которой стоит двадцать-тридцать томиков. — То есть хорошо для подрастающего ребенка.

— Муж был печатником. Работал в типографии. Он много читал, это был его отдых. Тут только часть его книг. Пока он был жив, в квартире, случалось, повернуться из-за них было негде. У нас просто нет места, чтобы держать столько книг. — И, нерешительно помолчав, она прибавляет: — У нас и ваша была. «Бедные люди». Муж ее очень любил.

Повисает молчание. Лампа начинает мигать. Женщина приворачивает фитиль, откладывает шитье. Дальние углы комнаты тонут во мраке.

— Мне как-то пришлось попросить Павла Александровича не собирать у себя друзей вечерами, — говорит она. — Теперь я жалею об этом. В тот раз мы никак не могли уснуть, они все разговаривали и пили до поздней ночи. Среди его друзей попадались люди довольно грубые.

— Да, в дружбе он был демократом. Умел раз-

говаривать с простыми людьми о том, что им близко. Ведь простые люди жаждут новых идей. Он никогда не говорил с ними свысока.

— Как и с Матрешей.

Свет еще тускнеет, фитиль начинает чадить. Словесный бальзам, думает он, который втираешь в язву. Вот только хочу ли я исцелиться?

— Павел, — спешит продолжить он, — при всей его молодости был человек положительный. Он размышлял о России, об обстоятельствах русской жизни. Его заботило многое из того, что важно для простого народа.

Долгая пауза. Дань, думает он, я отдаю дань, пусть недостаточную, пусть запоздалую, и домогаюсь подобной же дани от нее. Да почему бы и нет!

— Мне все не дают покоя ваши слова, позавчерашние, помните? — задумчиво произносит она. — Зачем вы вдруг стали рассказывать нам о необычайной сонливости Павла?

— Зачем? Затем, что, какой бы мелочью это теперь ни казалось, она-то и испортила ему жизнь. Оттого что он подолгу спал по утрам, мне пришлось несколько раз забирать его из одной школы и отдавать в другую. Вот он и не получил аттестата. И в конце концов оказался

здесь, в Петербурге, как-то прибился к студентам, с которыми истинно общего у него было мало и к которым он, в сущности говоря, не принадлежал. И причиной тут вовсе не лень его. Его просто невозможно было растормошить ничем — ни криком, ни тряской, ни угрозами, ни мольбами. Все равно что медведя будить, впавшего в спячку медведя!

— Это я понимаю. Есть дети, совсем неспособные прижиться в школе. Но я, собственно, о другом хотела спросить. Простите мои слова, но, когда вы все это рассказывали, меня поразило, что вы, кажется, продолжаете сердиться на него.

— Как же мне не сердиться! Мать его умерла, когда ему было пятнадцать, не забывайте. Легко ли было растить сына одному? Или у меня дела другого не было, как уговаривать мальчишку вылезти из постели? Если бы Павел закончил школу, как остальные, ничего бы этого не случилось.

— Этого?

Он раздраженно взмахивает рукой, словно отметая квартиру, Петербург и даже огромный темный полог ночи над ними.

Она глядит на него спокойно и твердо, и под взглядом ее он постепенно постигает смысл своих слов. Дрожь пронизывает его, начинаясь в

правой руке. Он встает и, сцепив за спиною руки, принимается мерить шагами комнату. Нечто подступает к нему, нечто такое, чего он старается не определять. Он пытается заговорить, но голос звучит, точно у удавленника. Веду себя совершенно как персонаж из книги, думает он. Но и насмешка над собой не помогает. Он вжимает голову в плечи. И начинает беззвучно плакать.

Происходи все это в романе, женщина отозвалась бы на его горе приливом сострадания. Эта не отзывается. В мерцающем свете она сидит за столом с шитьем на коленях, отвернув в сторону лицо. Поздно уже, никто их не видит, девочка спит.

Чертово сердце! — говорит он себе. Чертова чувствительность! Не сердце его пробный камень и не чувства, бушующие в нем, но смерть и чувства мертвого мальчика!

И в этот миг его посещает яснейшее из видений: Павел, улыбающийся ему, его раздражительности, его слезам, его театральности и тому, что за нею кроется. В улыбке Павла нет презрения — напротив, дружелюбие и прощение. Он знает! — думает он. Знает и ничего не имеет против! Волна благодарности и восторга омывает его. Уж теперь-то определенно будет припадок — такова

его следующая мысль, однако он оставляет ее без внимания. Уже не сдерживая слез, он ощупью добирается до стола, обхватывает руками голову и, мерно подвывая, дает волю своему горю.

Никто не гладит его по голове, никто не шепчет на ухо утешительных слов. Но когда он наконец поднимает, нащупывая платок, лицо, перед ним, внимательно вглядываясь, стоит Матрена. На ней белая ночная рубашка, расчесанные волосы лежат по плечам. Взгляд его невольно задерживается на ее едва припухлой груди. Он пытается улыбнуться ей, но выражение ее не меняется. И она тоже знает, думает он. Знает, где правда, где притворство, или же хочет узнать, проникая в него взглядом.

Он собирается с мыслями. Глаза, застланные последними слезами, прикованы к девочке. В этот миг что-то проходит меж ними — что-то, от чего он дергается, точно пробитый каленым железом. Но мать обнимает ее за плечи, они обмениваются несколькими тихими словами, и девочка возвращается в постель.

5
Максимов

— Доброе утро. Я желал бы получить (он сам удивляется ровности своего тона) вещи моего сына. В прошлом месяце он стал жертвой несчастного случая, и кое-что из вещей его было взято полицией.

Он разворачивает расписку, протягивает ее через барьер. Расписка датирована днем смерти Павла или следующим — зависит от того, до или после полуночи испустил он дух; в ней обозначены просто «письма и иные бумаги».

Письмоводитель с сомнением оглядывает расписку.

— Октября двенадцатого. Это ведь меньше месяца тому. Дело еще не закрыто.

— Сколько же времени потребуется, чтобы его закрыть?

— Месяца два, может быть, а то и три. Оно от обстоятельств дела зависит.

— В этом деле нет никаких обстоятельств. Преступления совершено не было.

Держа расписку в вытянутой руке, письмово-

дитель покидает приемную. Возвращается он с выражением куда более серьезным.

— Фамилия ваша, сударь?..

— Исаев. Отец.

— Ну да, господин Исаев. Будьте столь любезны, присядьте, вами скоро займутся.

Сердце его падает. Он надеялся просто забрать имущество Павла и уйти отсюда. Меньше всего ему хотелось бы привлекать к себе внимание полиции.

— Долго я ждать не могу, — отрывисто сообщает он.

— Да-да, сударь, следователь по этому делу скоро вас примет. Вы присаживайтесь, располагайтесь поудобнее.

Он смотрит на часы, опускается на скамью и в притворном нетерпении оглядывается по сторонам. Час ранний, кроме него, в приемной находится еще одно только лицо — молодой человек в покрытом пятнами балахоне маляра. Сидит это лицо прямо, словно аршин проглотило, и, по видимости, спит. Глаза закрыты, челюсть слегка отвисла, из горла истекает негромкий рокочущий звук.

Исаев. Тревога, охватившая его, не стихает. Не оставить ли ему эту глупую выдумку теперь же,

пока он в ней не увяз? Но как объясниться? «Прошу меня извинить, сударь, произошла небольшая ошибка. Дело не совсем таково, каким кажется. Я, видите ли, не то чтобы Исаев. Настоящий Исаев, имя которого я принял по причинам характера частного, причинам, в кои я в эту минуту и в этом месте входить не желаю, — причинам, впрочем, более чем достойным, вполне достойным, настоящий, стало быть, Исаев скончался тому назад несколько лет. Я же вырастил Павла Исаева как своего сына и люблю его, как если бы он был собственной моей плотью и кровью. Вот в этом смысле мы с ним носим одно имя или должны были бы носить. Немногие бумаги, оставшиеся после него, для меня драгоценны. Поэтому я к вам и пришел». Положим, он сделает это непрошеное признание и оно никаких подозрений не пробудит. Но что, если они намереваются с минуты на минуту вернуть ему бумаги, а выслушав его, пойдут на попятную? «Эге, это как же получается? Получается, что в деле имеются обстоятельства, нами не замеченные?»

Пока он сидит так в душной комнате с горящей в углу печкой, не зная, на что решиться — признаться ли или и дальше исполнять принятую роль, — извлекая то и дело часы и сердито на них

поглядывая, стараясь походить на нетерпеливого поверенного в делах, его понемногу охватывает предчувствие припадка, и в то же время он сознает, что припадок был бы уловкой, да и самой детской к тому же уловкой, которая, впрочем, позволила бы ему выпутаться из теперешнего затруднительного положения, а между тем где-то пообок этой мысли ложится тень мучительного воспоминания: определенно он уже был здесь прежде, вот в этой самой приемной или в похожей, и был тоже припадок или обморок! Но отчего этот эпизод помнится ему так смутно? И какое имеет отношение к воспоминанию запах свежей краски?

— Нет, это слишком!

Восклицание его отзывается в комнате эхом. Дремлющий маляр подскакивает, письмоводитель смотрит в удивлении. Он старается скрыть свое замешательство.

— Я, собственно, о том, — говорит он уже не так громко, — что не могу больше ждать, у меня назначена важная встреча. Я вам, помнится, говорил.

Он встает, надевает пальто, но тут письмоводитель окликает его:

— Вас желает видеть советник Максимов, су-

дарь.

В кабинете, куда его проводят, скамьи с высокой спинкой нет. Если не считать большого обитого клеенкой дивана, вся обстановка состоит из безликой казенной мебели. Советник Максимов, судебный следователь по делу Павла, лысый человек с расплывшейся бабьей фигурой, очень суетится, усаживая его поудобнее, затем открывает лежащее перед ним на столе пухлое дело и несколько времени читает, покачивая головой и негромко повторяя как бы про себя: «Грустная история… грустная».

Наконец он отрывает глаза от бумаг.

— Примите искреннейшие мои соболезнования, господин Исаев.

Исаев. Пора на что-то решиться!

— Благодарю вас. Я пришел просить о возвращении мне бумаг моего сына. Я понимаю, дело еще не закрыто, однако не вижу, какой интерес могут представлять частные бумаги для вашего департамента и что в них может быть важного для… для следствия.

— Да, разумеется, разумеется! Частные бумаги, как вы изволили выразиться. Однако скажите, что вы разумеете, в точности то есть, когда говорите «бумаги»? Что их, так сказать, образует?

Глаза Максимова отливают каким-то жидким, водянистым блеском, ресницы белые, точно у кошки.

— Как же я могу вам сказать? Их забрали из комнаты моего сына, я их покамест не видел. Ну, письма, документы…

— Вы их покамест не видели, а между тем уверены, что интереса для нас они не представляют. Что ж, понимаю. Понимаю веру отца в то, что бумаги его сына есть дело частное или, по крайности, семейное. Разумеется! Тем не менее производится следствие — простая формальность, быть может, но, однако ж, возбужденное законным порядком, стало быть, от него так просто, прищелкнув пальцами, не отмахнешься, и бумаги эти суть часть следственного дела.

Так что…

Он составляет кончики пальцев крышей, опускает голову и, по всей видимости, погружается в глубокие размышления. Когда он вновь поднимает лицо, улыбка на нем отсутствует, ее сменило выражение чрезвычайной решимости.

— Сдается мне, — говорит он, — да, сдается, я отыскал выход, который и нас удовлетворит, и вас устроит. Поскольку дело не закрыто — а по правде-то сказать, еще и не открыто толком, —

вернуть вам бумаги как таковые я не могу. Однако я позволю вам просмотреть их. Потому что, тут нельзя не согласиться с вами, отнять их у семьи, переживающей такую трагедию, — значит поступить не по совести, совсем не по совести.

Резким, пугающим жестом, точно игрок, выкладывающий карту, которая бьет все остальные, Максимов выхватывает из дела один-единственный листок и кладет его перед собеседником.

Это список фамилий, русских фамилий, написанных латинскими буквами, все начинаются на «А».

— Здесь какая-то ошибка. Это писал не мой сын.

— Не ваш сын? Хм. — Максимов забирает листок назад, разглядывает его. — А нет ли у вас, господин Исаев, каких-либо мыслей относительно того, кто это мог написать?

— Рука мне незнакома, это не моего сына рука.

Максимов вытягивает из самого низа дела другой листок и подвигает его по столу.

— А это?

Этого ему и читать не нужно. Как глупо! — думает он. Голова вдруг начинает кружиться. Откуда-то издалека он слышит собственный голос, произносящий:

— Это письмо от меня. Я не Исаев. Я просто принял его имя…

Максимов помахивает ладошкой, отгоняя, будто муху, его слова, требуя, чтобы он замолчал, но он, совладав с головокружением, завершает свое объявление.

— Я принял это имя, чтобы не усложнять дела — иных причин не было. Павел Александрович Исаев — мой приемный сын, единственное дитя моей покойной жены. Однако для меня он — мой сын. Кроме меня, у него никого в мире не было.

Максимов берет из его ослабевших пальцев письмо, перечитывает. Это последнее, посланное из Дрездена письмо, письмо, в котором он корит Павла за чрезмерные траты. До чего унизительно сидеть здесь и смотреть, как это письмо читает человек посторонний! Унизительно было даже писать его! Но как может знать человек, *как он может знать*, какой именно день будет последним?

— «Твой любящий отец Федор Михайлович Достоевский», — бормочет следователь, поднимая на него взгляд. — Стало быть, вы, выражаясь со всей определенностью, отнюдь не Исаев, а Достоевский.

— Да. Это была уловка, ошибка, глупая, но без-

вредная, и я о ней сожалею.

— Понимаю. И тем не менее вы пришли сюда, выдавая себя… впрочем, так ли уж нужно нам прибегать к слову столь некрасивому? Хорошо, давайте покамест на краткий срок воспользуемся им за неимением лучшего, но, так сказать, с осторожностью — выдавая себя за отца покойного Павла Александровича Исаева, с прошением вернуть вам принадлежавшую ему собственность, между тем как вы, по справедливости говоря, совсем не тот человек.

— Я уже сказал вам, это было ошибкой, о которой я горько сожалею. И все же покойный — *мой* сын, да и по закону я являюсь его назначенным должным порядком опекуном.

— Хм. Из бумаг видно, что при кончине пасынка вашего ему был двадцать один год, двадцать два без малого. Так что, строго говоря, судебное решение об опекунстве силу уже утратило. Человек двадцати двух лет сам себе господин, не правда ли? Вольная птица с точки закона.

Насмешка окончательно выводит его из себя. Он встает.

— Я не для того пришел сюда, чтобы обсуждать с посторонним человеком дела моего сына, — звенящим голосом произносит он. — Если вам

угодно держать эти бумаги у себя, так и скажите, я предприму другие шаги.

— Держать у себя? Разумеется, нет! Да вы сядьте, сударь, прошу вас, сядьте! Разумеется, нет! Совсем напротив, я только рад буду, коли вы их просмотрите, оно и вам на пользу пойдет, и нам тоже. Вы ведь нас можете на путь, так сказать, наставить, а мы это ценим, и высоко ценим. Давайте-ка вот с этих начнем.

Максимов раскладывает перед ним с полдюжины исписанных кругом листков — полный список имен, которого первую страницу, на «А», он уже видел.

— Стало быть, не вашего сына рука?

— Нет.

— Нет, это мы сами знаем. А чьей она может быть, никаких соображений не имеете?

— Рука мне незнакома.

— Это написано молодой женщиной, ныне пребывающей за границей. Имя ее значения не имеет, хотя, если я его назову, вы, пожалуй, удивитесь. Она состоит в друзьях и помощницах у господина по фамилии Нечаев, у Сергея Геннадиевича Нечаева. Это имя вам о чем-нибудь говорит?

— Лично я с Нечаевым незнаком и очень со-

мневаюсь в том, чтобы и сын мой водил с ним знакомство. Нечаев — заговорщик и бунтовщик, цели которого я полностью отвергаю.

— Вы говорите, что лично с ним незнакомы. И однако ж вы с ним встречались.

— Нет, не встречался. Я присутствовал на одном открытом конгрессе в Швейцарии, в Женеве, там выступали многие, и Нечаев в их числе. Мы с ним находились в одном зале — к этому наше знакомство и сводится.

— Это когда же было?

— Осенью шестьдесят седьмого года. Конгресс был организован Лигой мира и свободы, как именуют себя эти люди. Я отправился туда не таясь, как русский патриот, из желания услышать, что могут сказать о России все стороны. То обстоятельство, что я выслушал речь этого молодого человека, Нечаева, вовсе не делает меня его сторонником. Напротив, я, позвольте повторить, отвергаю все, за что он ратует, о чем я и высказывался неоднократно, как публично, так и частным образом.

— Вы, стало, и счастье народа отвергаете? Разве Нечаев ратует не за счастье народа? Не за него борется?

— Я не понимаю смысла вопросов ваших. Не-

чаев ратует прежде всего и главным образом за насильственное уничтожение всех общественных институтов во имя принципа равенства — равного счастья для всех, а не получится счастья, так равного ничтожества. Как-то обосновать этот принцип он даже и не пытается. Он, как мне представляется, вообще отрицает всякого рода обоснования, почитая их за пустую трату времени, бесполезное умствование. Прошу вас, не ищите связей между Нечаевым и мной.

— Хорошо, выговор ваш я принимаю. Хоть я, должен прибавить, несколько удивлен — я не назвал бы вас таким уж ревнителем принципов. Но к делу, к делу. Перед вами лежит список имен — вам из них знакомы какие-нибудь?

— Некоторые знакомы. Но таких совсем немного.

— Это список людей, которых, как только будет подан сигнал, надлежит уничтожить именем «Народной расправы», а это, как вам, полагаю, известно, созданная Нечаевым подрывная организация. Убийства эти предположительно подстрекнут всеобщий бунт и приведут тем самым к ниспровержению государственной власти. Загляните в конец, там есть дополнение, в котором перечислены целые классы людей, подлежащие

истреблению после падения государства. Вся высшая судебная власть, все офицеры полиции, служащие Третьего отделения от капитана и выше. Список этот найден среди бумаг вашего сына.

Сообщив эти сведения, Максимов откинулся в кресле и дружески улыбнулся.

— И отсюда следует, что мой сын был убийцей?

— Нет, разумеется! Да и как бы он мог быть им, если никто еще не убит? Перед вами лежит, так сказать, черновик, умозрительный прожект. По правде говоря, мое мнение — мнение частного то есть лица — таково, что любой молодой человек, за что-то разобидевшийся на общество, способен был бы состряпать подобный же список, потратив на это занятие не более одного вечера, — из желания, быть может, покрасоваться перед весьма юной особой, которой он его надиктовал, выказать перед нею свою власть над жизнью и смертью, власть вполне фантастическую. Тем не менее покушение, заговор с целью покушения, угрозы в адрес официальных лиц — это все дела серьезные, вы не находите?

— Весьма серьезные. Ваш долг совершенно ясен, и в советах моих вы не нуждаетесь. Если

Нечаев когда-нибудь возвратится на родину, вы обязаны арестовать его. А сын мой — что вы с ним можете сделать? Арестовать и его?

— Хе-хе! Шутить изволите, Федор Михайлович! Нет, арестовать его мы не можем, даже ежели бы и захотели, поскольку он удалился теперь в лучший мир. Однако кое-что он в этом оставил и нам. Бумаги, и в количествах гораздо больших, чем вправе себе позволить любой уважающий себя заговорщик. Остались также кое-какие вопросы. Такой, к примеру: почему он лишил себя жизни? Позвольте мне вас спросить, что вы об этом предмете думаете: почему он лишил себя жизни?

Комната плывет перед его глазами.

— Мой сын не лишал себя жизни, — шепчет он. — Вы ничего в нем не поняли.

— Разумеется, нет! Ни в пасынке вашем, ни в превратностях жизни его я ничегошеньки не понимаю и понять не претендую. Что я надеюсь понять, в смысле существенном, в следовательском то есть смысле, так это причины, приведшие его к смерти. Скажем, угрожал ли ему кто-нибудь? Быть может, кто-то из сообщников пригрозил, что выдаст его? Или боязнь последствий до того его умучила, что он наложил на себя руки? А может быть, он этого и не делал вовсе? Не ис-

ключено ведь, что по причинам, о коих мы пока не осведомлены, его сочли изменником делу «Народной расправы» и убили столь решительно неприятным способом? Вот какие вопросы у меня в голове-то вертятся. Я оттого и ухватился за приятную возможность побеседовать с вами, Федор Михайлович. Ведь если вы его не знаете, вы, его приемный отец и давнишний попечитель, в отсутствие настоящих-то родителей, то кто же тогда?

Ну-с, и потом, имеется еще вопрос о пьянстве его. Всегда ли он пил помногу или пристрастился недавно, не выдержав гнета, так сказать, заговорщицкой жизни?

— Не понимаю. О каком пьянстве вы говорите?

— Да ведь он в ночь своей смерти очень много выпил. Вы не знали?

Он немо качает головой.

— Да, Федор Михайлович, я вижу, вы многого не знаете. Давайте говорить начистоту. Я, как услышал, что вы явились требовать бумаги пасынка вашего, в самое, можно сказать, логово льва вступили, так и уверовал или почти уверовал, что у вас и подозрений даже о чем-либо неподобающем не имеется. Потому что, знай вы о связи между вашим пасынком и нечаевской шайкой, вы бы

уж точно к нам не пришли. А когда бы и пришли, то, по крайней-то мере, с самого начала определенно бы и объявили, что вам только переписка между вами и пасынком нужна, более ничего-с. Вы понимаете?

— Да…

— Ну-с, а поскольку письма от пасынка вашего и так уже у вас, стало быть, нужны вам только письма, вами писанные. Но почему же…

— Письма, да, письма и все прочие бумаги частного характера. Ведь сына моего вы все равно теперь преследовать не в состоянии.

— Ваша правда… Такая трагедия… Но вот о бумагах этих, «частного», как вы изволили выразиться, характера… Сдается мне, в нынешних обстоятельствах уж и не понять, что это, собственно, такое означает — «частного характера». Разумеется, мертвых до́лжно уважать, и права вашего пасынка, которых сам он уже отстоять не может, нам теперь защищать надлежит — в настоящем случае право на частную жизнь. Каждый из нас, пожалуй, поежился бы, представив, как после кончины нашей некто, нимало нам не знакомый, принимается копаться в наших пожитках, ящики в столе выдвигать, ломать печати, читать интимные письма. С другой же

стороны, в некоторых случаях мы, пожалуй, и предпочли бы, чтобы службу эту, неприятную, но необходимую, сослужил бы нам человек посторонний и никакого интереса к нам не питающий. Легко ли помыслить, что самые потаенные наши делишки вылезут на свет божий, когда чувства близких наших еще растревожены, и предстанут во всей их красе перед ничего не подозревавшей женой, или дочерью, или сестрой? В некоторых отношениях оно и лучше было бы, если б ими занялся человек сторонний, которого мы оскорбить не можем и потому, что мы для него звук пустой, и потому, что он, по роду занятий своих, с оскорблениями обвыкся.

Все это, разумеется, праздный в некотором смысле разговор, потому как в окончательном-то итоге распоряжается закон, закон наследования: тот, кому надлежит наследовать имущество, тот и получает и частные бумаги, и все прочее. А ежели человек умирает, о наследнике не распорядившись, тогда в силу вступает кровное родство, и уж оно определяет все, что определить надлежит.

Стало быть, семейные письма, как мы с вами согласились, это бумаги частные и потому обращения требуют самого осмотрительного.

Иное дело, что заграничную переписку да еще и переписку характера подстрекательского — тот же список людей, намеченных для убийства, — частными бумагами никак уж не назовешь. Но вот, однако… минуточку-с… вот случай совсем уж прелюбопытнейший.

Он принимается перебирать в деле какие-то листки, неприятно барабаня пальцами по столу.

— Прелюбопытнейший случай, прелюбопытнейший, — бормочет он, перебирая бумаги, и вдруг объявляет: — Рассказец-с! Как нам с рассказом прикажете поступить, с плодом, так сказать, литературной фантазии? Частное это дело или не частное, рассказец-то, как оно, по-вашему?

— Да уж, конечно, частное, и даже до чрезвычайности — частное дело автора, пока сочинение его не станет достоянием публики.

Максимов бросает на него лукавый взгляд и подталкивает через стол то, что перед этим просматривал. Это школьная, с линованными листами тетрадь. Он с первого взгляда узнает клонящийся почерк, длинные завитки и тире. «В девственной снежной пустыне…» — читает он и сразу испытывает желание переправить эту избитую фразу. Что-то о человеке, бредущем под открытым небом, о холоде. Покачав головой, он

закрывает тетрадку.

Максимов тянется и мягко отнимает ее. Полистав, он находит нужное ему место и вторично подвигает тетрадь через стол.

— Прочтите отсюда, — говорит он, — всего страницу-другую. Наш герой — молодой человек, осужденный за участие в противоправительственном заговоре и сосланный в Сибирь. Из каторги он бежит и в дальнейшем попадает в дом некоего помещика, там его прячет и кормит молодая крестьянка, кухонная прислуга. Как-то вечером помещик, этакий, знаете, вульгарный сластолюбец, принимается грубо за нею ухаживать. Вот это-то место я и прошу вас прочесть.

Он снова качает головой.

Максимов тянет тетрадку к себе.

— Зрелище становится для молодого человека невыносимым, он покидает свое укрытие и вмешивается в происходящее.

Максимов начинает читать вслух:

— «Карамзин…» — это помещик — «…повернулся к нему и прошипел: „Ты кто таков есть? Что здесь делаешь?“ Тут он разглядел серую куртку и разбитые ножные кандалы. „А, ты из этих! — воскликнул он. — Так я же с тобой управлюсь!“ Он вскочил и повалил прочь из комнаты». Хорошее

словцо нашел, «повалил», мне нравится. Помещик у него изображен человеком с бульдожьей физиономией, этакий скот с волосатыми ушами и короткими, жирными ножками. Неудивительно, что юный герой наш оскорбился: уродливая старость тянет лапы к девственной красоте! Он хватает стоящий за печью топор. «Со всей силой, содрогаясь от отвращения, он опустил топор на бледный череп старика. Колени Карамзина подломились. Громко, точно животное, всхрапнув, он рухнул лицом на выскобленный кухонный пол, широко раскинув руки с подергивающимися пальцами, и затих. Сергей…» — таково имя нашего героя — «…стоял, точно прикованный к месту, с окровавленным топором в руке, неспособный поверить в то, что он совершил. Но Марфа…» — а это, стало быть, героиня — «…с присутствием духа, для него неожиданным, схватила мокрую тряпку и подсунула ее под затылок убитого, чтобы не растекалась кровь». Недурственная реалистическая черта, вы не находите?

Далее идут все больше обрывки, я их читать не стану. Вероятно, после устранения непристойного Карамзина вдохновение автора стало иссякать. Сергей с Марфой выволакивают тело и спускают его в заброшенный колодец. Затем они уходят

вдвоем в ночь — «полные решимости», так прямо и сказано. Не вполне понятно, намереваются ли они удариться в бега или нет. Позвольте, однако ж, упомянуть последнюю частность. Топор Сергей не бросает. Напротив, берет с собой. Для чего? — спрашивает Марфа. Ответ его я вам процитирую: «Для того, что это оружие русского народа, орудие нашей защиты и нашей мести». Окровавленный топор, народная месть — намек, кажется, такой, что яснее и некуда, не правда ли?

Он изумленно глядит на Максимова.

— Ушам своим не верю, — шепчет он. — Так вы и вправду намереваетесь построить на этом доказательства виновности моего сына — на рассказике, на фантазии, записанной им в уединении его комнаты?

— Да что вы, батюшка, Федор Михайлович, опять вы меня не поняли! — Максимов, с показным огорчением покачивая головой, откидывается в кресле. — Мы и в мыслях не имели преследовать (если воспользоваться выражением вашим) вашего пасынка. Его-то дело закрыто, в том то есть смысле, который один только и существен. Я прочитал вам эту фантазию, как вы о ней отнестись изволили, с тем лишь, чтобы показать, какое влияние на него имели нечаевцы,

и без того уж сбившие с пути бог весть сколько впечатлительных и легковерных молодых людей, особливо здесь, в Петербурге, и ведь многие из хороших фамилий происходят. Сущая моровая язва эта нечаевщина, эпидемия, я бы так сказал. Эпидемия или, может статься, мода.

— Только не мода. То, что вы зовете нечаевщиной, всегда существовало в России, разве под другими именами. Нечаевщина — явление такое же русское, как разбой. Но я пришел сюда не для того, чтобы рассуждать о нечаевцах. Я пришел ради простого дела — забрать бумаги сына. Могу я их получить? А если нет, могу ли удалиться?

— Удалиться вы, натурально, можете, вы человек свободный. Пожили за границей, вернулись с подложным именем в Россию. Что у вас там значится в паспорте, я и спрашивать не желаю. Вы вольны удалиться, вольны вполне. Если кредиторы ваши обнаружат, что вы в Петербурге, то, разумеется, и они совершенно вольны принять свои меры. Меня это все не касается, это ваши с ними дела. Повторяю, вы можете покинуть присутствие. Однако должен вас предуведомить: положительно обещать, что стану содействовать вам в обмане, я не могу. Это, надеюсь, понятно.

— В настоящую минуту деньги меня волнуют

меньше всего. Если меня примутся донимать из-за старых долгов, значит, так тому и быть.

— Э, полноте, вы пережили потерю, настрадались, так и думаете, что вам теперь все равно. Понимаю, вполне понимаю. Да только у вас ведь жена и ребенок, им-то как без вас прожить? Хоть ради них не сдавайтесь судьбе на милость. Что до просьбы вашей касательно бумаг этих, с сожалением должен сказать, что выдать их вам пока не могу. Они образуют часть полицейского дела, касающегося связей пасынка вашего с нечаевцами.

— Очень хорошо. Но прежде чем я уйду, не позволите ли мне поступить вопреки моим же словам и сказать вам о нечаевцах нечто для вас неожиданное? Потому что я, по крайней мере, видел и слышал самого Нечаева, чем вы — поправьте меня, коли я ошибаюсь, — похвалиться не можете.

Максимов вопросительно вскидывает голову.

— Продолжайте, прошу вас.

— Нечаев — дело вовсе не полицейское. В сущности говоря, Нечаев вообще не дело властей, во всяком случае, властей мирских.

— Продолжайте, продолжайте.

— Вы можете выследить Сергея Нечаева и упрятать его в тюрьму, но нечаевщины вы этим не

уничтожите.

— Согласен. Согласен с вами совершенно. Нечаевщина — мысль, в нашей стране весьма распространившаяся. Он сам — лишь телесное ее воплощение. И уничтожить ее не удастся, пока не наступят иные времена. Наша же цель поскромнее и попрактичнее — уяснить, насколько широко мысль эта разошлась, и там, где она укоренилась, не позволить ей претвориться в деяния.

— Вы меня все же не поняли. Нечаевщина — не мысль. Она отрицает мысль и пребывает за пределами ее. Это дух, и сам Нечаев не воплощение его, а вместилище или, вернее, человек, этим духом одержимый.

Выражение максимовского лица остается непроницаемым. Он делает еще одну пробу.

— Когда я встретил в Женеве Сергея Геннадиевича Нечаева, он поразил меня как невзрачный, угрюмый, откровенно заурядный молодой человек посредственного ума. Не думаю, чтобы это первое мое впечатление было ошибочным. Но вот в эту-то невзрачную оболочку и вошел некий дух. Впрочем, и в самом духе замечательного мало. Тупой, обидчивый, кровожадный. Почему он предпочел вселиться именно в этого молодого

человека? Не знаю. Быть может, потому, что счел оболочку удобной, потому что ее легко покидать и легко в нее возвращаться. Однако как раз оттого, что в Нечаеве сидит этот дух, сам Нечаев и приобретает последователей. Их привлекает дух, не человек.

— И как этот дух зовется, Федор Михайлович?

Он пытается зримо представить себе Сергея Нечаева, но видит лишь воловью голову — остекленелые глаза, вывалившийся язык, череп, расколотый топором мясника. И тучу мух. Имя приходит к нему, и он в тот же миг произносит его:

— Ваал.

— Любопытно. Метафора, надо думать, и не весьма к тому же внятная. Ваал. Вынужден, однако ж, задать себе вопрос: будет ли какой-нибудь толк от этих разговоров о духах, об одержимости духами? Будет ли толк даже от разговоров о мыслях, расходящихся по стране, точно у них руки и ноги имеются? Чем они помогут нам в наших заботах? Чем помогут России? Вы говорите, что нам не следует сажать Нечаева под замок, поскольку он-де бесом одержим (не назвать ли нам его «бесом»? В «духе», с дозволения вашего, присутствует нота отчасти фальшивая). Но как

же нам-то при такой оказии поступать? Мы ведь, если на то пошло, не орден мистических созерцателей, мы — следственная часть.

Наступает молчание.

— Я ничуть не желаю отмахиваться от сказанного вами, — вновь нарушает тишину Максимов. — Вы человек, одаренный способностью к особливым озарениям, я это знал и до знакомства с вами. А эти дети-заговорщики определенно и в сравнение ни в какое не идут со своими предшественниками. Они себя едва ли не бессмертными почитают. И с этой точки они действительно похожи на драчливых бесов. Да и безжалостных к тому же. Это у них, так сказать, в крови — желать нам зла, нашему то есть поколению. Они с этим желанием на свет родились. Нелегко быть отцом, не правда ли? Я и сам отец, но у меня, по счастью, дочери. А иметь в наш век сыновей — слуга покорный. Впрочем, и с вашим отцом, кажется… там ведь, кажется, какая-то неприятность вышла с вашим отцом, или меня память подводит?

Из-под приопущенных белых ресниц Максимов бросает на него острый взгляд и, не дожидаясь ответа, продолжает:

— Вот я и гадаю, так ли уж, в последнем-то счете, много в Нечаеве от помраченного духа, как вы,

сдается мне, изволите утверждать? Быть может, дело сводится все же к вековечной нашей распре отцов и детей, которая только стала в нынешнем поколении более ожесточенной и непримиримой. А в этом случае самые простые средства, возможно, будут и самыми разумными: следует просто скрепиться и ждать, когда они повзрослеют. В конце концов, были же у нас декабристы, были люди сорок девятого года. Декабристы, те, что еще живы, теперь старики, и я уверен, какие бы бесы их ни смущали, все давно уже расточились. Или вот тот же Петрашевский со товарищи, что вы о них думаете? И их тоже бес попутал?

Петрашевский! Для чего он помянул Петрашевского?

— Не могу согласиться с вами. То, что вы называете феноменом Нечаева, обладает особой окраской. Нечаев — человек кровавый. А люди, которых вы удостоили воспоминания, были идеалистами. Они потерпели поражение, потому что, к чести их, не имели достаточной наклонности к интригам и уж к крови определенно не тяготели. Петрашевский — раз уж вы упомянули о Петрашевском — с самого начала отверг иезуитство того рода, что оправдывает средства целью. Нечаев же иезуит, светский иезуит, совершен-

но открыто провозглашающий доктрину цели, оправдывающей самое циническое злоупотребление энергией его приверженцев.

— В таком случае я чего-то не понимаю. Объясните мне сызнова: отчего мечтателей, поэтов, образованных молодых людей, подобных вашему пасынку, притягивают разбойники вроде Нечаева? Потому как, по вашему-то описанию, что же получается? Нечаев всего-навсего разбойник, едва-едва нахватавшийся вершков образования?

— Не знаю. Возможно, оттого, что в молодежи присутствует нечто, еще не уснувшее, и именно то, к чему взывает дух, обуявший Нечаева. Возможно, оно и во всех нас присутствует, что-то такое, что мы почитаем умершим много столетий назад, а оно не умерло, оно только спит. Я повторяю: не знаю. Я не способен объяснить связь моего сына с Нечаевым. Для меня она неожиданна. Я пришел к вам только затем, чтобы забрать бумаги Павла, составляющие для меня ценность, которой вы уразуметь не сможете. Только бумаги, ничего больше. И я спрашиваю вас сызнова: вернете вы мне эти бумаги? Для вас они бесполезны. Вы ничего из них не узнаете о том, почему образованные молодые люди подпадают под влияние горстки преступников. И вам, именно вам они

скажут меньше, чем кому бы то ни было, потому что вы определенно не знаете, как их читать. Позвольте уж мне сказать: все то время, пока вы читали мне рассказ сына, я видел, что вы стараетесь от него отстраниться, отгораживаетесь насмешкой, точно боитесь, что слова выскочат из страницы, набросятся на вас и станут душить.

Произнося эти слова, он чувствует, как в нем разгорается некий огонь, ему приятный. Он принаклоняется к Максимову, вцепившись в подлокотники кресла.

— Что вас так сильно пугает, господин Максимов? Когда вы читаете о Карамзине или Карамазове — как бишь его? — о том, как треснул, точно яйцо, бледный череп Карамзина, что происходит с вами — страдаете вы вместе с ним или втайне восторгаетесь рукой, взмахнувшей топором? Не отвечаете? Ну так я вам скажу: настоящее чтение в том-то и состоит, чтобы становиться и рукой, и топором, и черепом. Читать — значит забывать о себе, а не стоять в сторонке, посмеиваясь. Спроси я вас об этом прямо, вы, верно, ответили бы, что охотитесь за Нечаевым для того, чтобы предать его суду с соблюдением положенных формальностей, с защитой и обвинением и прочим, а там и запереть до скончания его дней в чистой

и светлой камере. Но загляните-ка в себя, этого ли вы хотите на самом деле? Не подмывает ли вас попросту снести ему голову и потоптаться в его крови?

Раскрасневшийся, он откидывается на спинку кресла.

— Вы человек чрезвычайно умный, Федор Михайлович, и, однако ж, говорите о чтении так, словно в вас в самих бес вселился. Боюсь, по таким меркам читатель из меня и впрямь никудышный — туповатый и воспарить неспособный. Однако при всем том я, слушая вас, поневоле начал гадать, не в лихорадке ли вы, часом. Если бы вы сейчас увидели себя в зеркале, вы, наверно, поняли бы, что я имею в виду. Ну-с, разговор у нас получился долгий — любопытный, но долгий, а у меня между тем множество дел, и дел неотложных.

— Говорю вам еще раз: бумаги, которые вы столь ревностно удерживаете, скажут вам не больше, чем если б они были написаны по-арамейски. Верните их мне!

Максимов хмыкает:

— Вы сами снабдили меня наисерьезнейшей и благороднейшей из причин, по которой возвращать их вам, Федор Михайлович, ну никак уж не

следует, и именно той, что при нынешнем вашем душевном состоянии Нечаев может выскочить из страницы и овладеть вами полностью. Однако серьезно: вы говорите, что знаете, как их читать. Не согласитесь ли вы когда-нибудь в будущем прочесть для меня все эти бумаги, все нечаевские документы? Тут ведь только одно дело, а их многое множество.

— Прочесть их для вас?

— Да. Прочесть их для меня.

— Зачем?

— Да затем, что вы вот говорите, будто я читать не умею. Ну так покажите мне, как это делается. Научите меня. Растолкуйте мне эти мысли, которые вовсе не мысли.

В первый раз с того дня, как в Дрезден пришла телеграмма, на него нападает смех, он даже чувствует боль в отвыкших от улыбки, застывших складках своего лица. Впрочем, смех его резок и безрадостен.

— Мне всегда твердили, — произносит он наконец, — что полиция — это глаза и уши общества. И вот вы призываете на помощь меня! Нет, не стану я вам читать.

Сложив ладошки на лоне, прикрыв глаза, приобретя еще пущее сходство с Буддой, лишенным

пола и возраста, Максимов кивает.

— Благодарствуйте, — мурлычет он. — Не смею долее задерживать.

Он выходит в заполненную людьми приемную. Как много времени провел он наедине с Максимовым? Час? Больше? На скамье не осталось свободного места, люди стоят, прислонясь к стенам, стоят в коридоре, где особенно удушающе пахнет свежей краской. Разговоры мгновенно смолкают, все взгляды обращаются к нему, лишенные малейшего расположения взгляды. Сколько людей ищет справедливости, и ведь у каждого есть что рассказать!

Уже почти полдень. Мысль о том, чтобы вернуться к себе в комнату, кажется ему непереносимой. Он направляется по Садовой на восток. Небо низкое, серое, дует холодный ветер, ноги скользят на покрывшей землю наледи. Пасмурный день, в такой только и плестись, свесив голову, по улице. И все же он не может удержаться, глаза его беспокойно перебегают с одного прохожего на другого в поисках разворота плеч, походки, присущей покойному сыну. По походке он и узнает его, вначале по походке, а после уж по фигуре.

Он пытается вызвать в памяти лицо Павла. Но лицо, возникающее взамен и возникающее с

редкостной живостью, принадлежит молодому человеку с густыми бровями, редкой бородкой и узким, очень узким ртом, человеку, сидевшему сзади Бакунина на сцене Конгресса мира два года назад. Лицо покрыто посиневшими на холоде фурункулезными шрамами. «Прочь!» — говорит он, норовя отогнать видение. Но оно не уходит. «Павел!» — шепчет он, тщетно взывая к сыну.

6
Анна Сергеевна

Прежде он в этой лавке не бывал. Она меньше, чем ему представлялось, темная, низкая, наполовину ушедшая в землю. Когда он открывает дверь, звякает колокольчик. Глаза не сразу привыкают к сумраку.

Кроме него, покупателей здесь нет. За прилавком стоит старик в грязноватом белом переднике. Делает вид, будто пересчитывает товар — открытые мешки с гречневой крупой, мукой, фасолью, овсом. Он подходит к прилавку.

— Будьте любезны, сахару, — говорит он.

— Э? — переспрашивает старик и откашливается. Глаза его под очками кажутся крохотными, как пуговки.

— Мне нужен сахар.

Она выходит из-за перекрывающей дверной проем занавески в глубине лавки. Если его появление и удивляет ее, она того не показывает.

— Я займусь покупателем, Абрам Давыдович, — негромко произносит она, и старик уступает ей место.

— Мне нужно немного сахару, — повторяет он.

— Сахару? — На губах ее обозначается легкое подобие улыбки.

— Да, на пять копеек.

Она умело сворачивает бумажный фунтик, зачерпывает совком белый сахар, взвешивает, закрывает кулек. Проворные руки.

— Я прямо из полиции. Пытался получить бумаги Павла.

— И что?

— Оказывается, существуют сложности, которых я не предвидел.

— Вернут. Просто придется подождать. Все требует времени.

Хоть на то и нет никакой причины, он усматривает в ее словах двойной смысл. Если бы за спиной Анны Сергеевны не топтался старик, он перегнулся бы через прилавок и взял ее за руку.

— Так сколько?.. — спрашивает он.

— Пять копеек.

Принимая сахар, он позволяет своим пальцам скользнуть по ее.

— Вы озарили светом мой день, — шепчет он так тихо, что, возможно, она его даже не слышит.

Он кланяется ей, кланяется Абраму Давыдо-

вичу.

Воображение его разыгралось, что ли, или он уже видел человека в тулупе и малахае, зеваку, застрявшего на противуположной стороне улицы, наблюдая, как возчики разгружают с телеги кирпич, а теперь повернувшего, как и он, в направлении Свечной?

Еще и сахар. На что ему сахар?

Он пишет записку Аполлону Майкову: «Я в Петербурге, был на могиле. Спасибо, что позаботились обо всем. Спасибо за многолетнее доброе отношение к П. Вечный Ваш должник». Вместо подписи он ставит букву «Д».

Было б не так уж и сложно встретиться с ним под рукой. Но не хочется подводить старого друга. Майков, при всегдашнем его великодушии, все поймет, думает он, я в трауре, а люди в трауре общества избегают.

Извинение достаточно благопристойное, но лживое. Он не в трауре. Он не сказал сыну прощальных слов, не отказался от него. Напротив, он хочет вернуть сына к жизни.

Письмо к жене: «Он все еще здесь, у себя в комнате. Он напуган. Право остаться в этом мире он утратил, а мир иной холоден, так холоден, как пространство меж звездами, и неприветлив».

Дописав письмо до конца, он рвет его. Письмо нелепо; к тому же оно предает то немногое, что еще уцелело между ним и сыном.

Сын остается в нем, внутри его, мертвый младенец в железном коробе, зарытом в мерзлую землю. Воскрешать младенцев он не умеет, да ему — что, впрочем, сводится к тому же — все равно недостало б для этого воли. Он парализован. Даже бредя по улице, он думает о себе как о парализованном. Каждое движение рук его замедленно, точно у иззябшего человека. Он утратил волю, или, вернее, воля его обратилась в монолитную массу, в камень, который всем своим мертвым весом тянет его в безмолвие и неподвижность.

Он знает, что такое горе. Это не горе. Это смерть, смерть, пришедшая раньше срока — не оглушить и пожрать его, но просто побыть подле него. Точно собака, поселившаяся с ним рядом, большая серая собака, слепая, глухая, глупая, неповоротливая. Когда он спит, спит и собака; когда он просыпается, и она просыпается; когда он выходит из дому, собака плетется за ним.

Мысли его с вялым упорством возвращаются к Анне Сергеевне. Он думает о ней, о ее проворных пальцах, перебирающих монеты. Монеты, стежки — что они символизируют?

Он вспоминает молодую крестьянку, виденную когда-то у ворот монастыря Св. Анны в Твери. Она сидела, прижимая к груди мертвое дитя, не обращая внимания на людей, норовивших отнять у ней трупик, и улыбалась редкостной красоты улыбкой — улыбкой святой Анны, в сущности говоря.

Воспоминания как струйки бесплотного дыма. Камышовый плетень посреди неведомой местности, серый, колкий, и бесплотная фигурка, проскальзывающая между камышин, плоская, лишенная веса фигурка мальчика в белом. Деревушка в степи: ручей, два-три дерева, корова с колокольцем на шее и дым, улетающий в небо. Край света. Мальчик снует меж камышин вперед-назад — застрявшая метаморфоза, гость из чистилища.

Видения приходят, уходят, быстрые, недолговечные. Он уже не владеет собой. Размеренным движением он сдвигает перо и бумагу на дальний край стола и опускает голову на руки. Терять сознание, думает он, так уж на посту.

Еще видение. Человек у источника подносит ковшик к губам — путник в самом начале пути; в глазах над ободом ковшика уже читается отрешенность, они уже не здесь. Прикосновение руки

к руке. Ласковое. «Прощай, старый друг!» Уходит.

В чем смысл этой тяжкой погони в пустых просторах за призраком молвы, за молвою о призраке?

В том, что я — это он. В том, что он — это я. Вот что я хочу ухватить — миг перед исчезновением, миг, когда кровь еще струится по жилам, когда еще бьется сердце. Сердце — старательный вол, вращающий мельничные жернова, он даже не поднимает удивленного взгляда, когда над ним взлетает топор, но принимает удар, падает на колени и испускает дух. Не забытье — миг перед забытьем, миг, когда я, задыхаясь, прибежал к источнику и мы в последний раз взглянули друг другу в лицо, сознавая, что живы, что жизнь у нас общая и только одна. Вот и все, что я успел ухватить: мгновенный взгляд, приветственный и прощальный, вне доводов, вне оправданий: «Здравствуй, старый друг. Прощай, старый друг». Сухие глаза. Слезы, обратившиеся в хрусталь.

Я держал в руках твою голову. Целовал тебя в губы, в лоб.

Правило: один взгляд, только один, и никогда не оглядываться. А я все оглядываюсь.

Ты стоишь у колодца, ветер играет в твоих волосах, очищение не души, но тела, восходящего к

первой своей, второй, третьей, четвертой, пятой сущности, глядящего на меня хрустальными глазами, улыбающегося золотыми губами.

Я вечно оглядываюсь. Навек пойманный твоим пристальным взглядом. Целое поле хрусталистых точек, мерцающих, пляшущих, — я одна из них. Звезды в небе, и с ними перекликаются огни на равнине. Два мира, посылающие один другому сигналы.

Он засыпает за столом и спит до вечера. Матрена стукает перед ужином в дверь, но он не просыпается. Ужинают без него.

Много позже, когда девочка уже спит, он выходит из своей комнаты одетым для улицы. Анна Сергеевна, сидящая спиною к нему, оборачивается.

— Уходите? — спрашивает она. — Не выпьете ли чаю перед уходом?

Некая нервность ощущается в ней. Но рука, подающая чашку, тверда.

Она не приглашает его присесть. Стоя перед нею, он молча пьет чай.

Он ставит пустую чашку, опускает руку ей на плечо.

— Нет, — говорит она, покачав головой и отводя его руку. — Это не в моих правилах.

Зачесанные назад волосы ее удерживает массивная финифтевая заколка. Он расстегивает заколку, кладет на стол. Она уже не противится, но встряхивает головой, давая волосам волю.

— Все еще будет, обещаю вам, — говорит он.

Он сознает, что немолод, что в голосе его не осталось и следа чувственной силы, на которую отзывались некогда женщины. Ее сменило нечто, чему он не хочет подыскивать названия. Надтреснутый инструмент, голос, сломавшийся вторично.

— Все, — повторяет он.

Она вглядывается в его лицо со вниманием и серьезностью, ошибиться в значении которых ему невозможно. Затем откладывает шитье. Выскользнув из его рук, скрывается в занавешенной нише.

Он ждет, томясь неуверенностью. Ничего не происходит. Шагнув за нею, он раздвигает занавеску.

Матрена спит крепким сном, губы ее приоткрыты, светлые волосы нимбом лежат на подушке. Анна Сергеевна в наполовину расстегнутом платье. Взмахом руки и сердитым взглядом, не лишенным, однако же, удовольствия, она отсылает его.

Он присаживается, ждет. Она выходит в ночной рубашке, босая. Чуть синеют вены на ступнях. Немолода; не сдающаяся невинность. Но руки ее, когда он берет их в свои, холодны и дрожат. Она не хочет встречаться с ним взглядом.

— Федор Михайлович, — шепчет она, — знайте, это со мной впервые.

Серебряная цепочка на шее. Он перебирает пальцами звенья, пока не нащупывает крестик. Подносит крестик к ее губам, она, не колеблясь, пылко целует его. Когда же он пытается ее поцеловать, она отворачивает лицо.

— Не сейчас, — шепчет она.

Ночь они проводят в комнате сына. То, что происходит меж ними, происходит от начала и до конца в темноте. Пуще всего поражает его жар ее тела. Вот уж чего он никак не ждал. Словно огонь горит в сокровенной ее сердцевине. Этот огонь обостряет в нем чувственность, обостряет ее и то, что лихорадочные, рискованные труды их совершаются в такой близи от спящей в смежной комнате девочки.

Он засыпает. Где-то посреди ночи он пробуждается рядом с нею, не покинувшей его узкой кровати. Хоть и опустошенный, он принимается снова ласкать ее. Она не отзывается и, когда

он наваливается на нее, словно мертвеет в его объятиях.

В происходящем затем нет ничего, что он мог бы назвать наслаждением или хотя бы чувством. Кажется, будто в минуты близости их разделяет саван — серый, ветхий саван его горя. И в миг наивысшего напряжения он снова впадает в сон, точно падает в озеро. Он тонет, а из глубины навстречу ему поднимается Павел. Лицо сына искажает отчаяние: легкие его разрываются, он знает, что умрет, что нет для него надежды, он призывает отца, потому что больше ему ничего не осталось, потому что это последняя связь его с миром. Зов Павла изливается потоком придушенных слов. Это видение, в уродливой его непреклонности, налетает на него из водоворота тьмы, в который он падает внутри женского тела. Видение рушится на него, овладевает им и исчезает.

Просыпается он уже засветло. В квартире пусто.

День проходит в горячке нетерпения. Вспоминая о ней, он, точно юноша, содрогается от желания. Но не стискивающая горло douceur[1]

---

[1] Примечания: 1

Нежность (*фр.*). — *Здесь и далее примеч. пер.*

двадцатилетней давности обуревает его. Скорее, он чувствует себя листом или семенем, захваченным безудержной силой, крылатым семенем, вознесенным в горние выси и головокружительно влекомым над океаном.

За ужином Анна Сергеевна остается сдержанной и далекой, внимание ее приковано к девочке, она вся погружена в беспорядочный рассказ дочери о дне, проведенном в школе. Когда ей приходится обращаться к нему, она учтива, но холодна. Эта холодность лишь разжигает его. И навряд ли алчные взгляды, которые он украдкой бросает на шею, губы, руки матери, минуют девочку, не задевая ее.

Он ожидает, когда все стихнет, то есть когда Матрена уляжется спать. Но в девять часов свет в соседней комнате гаснет. Он ждет полчаса, потом еще полчаса. Потом, прикрывая ладонью свечу, в одних носках выскальзывает из своей комнаты. Огромные тени пляшут по стенам. Поставив свечу на пол, он подкрадывается к нише.

В тусклом свете он различает на дальнем краю постели Анну Сергеевну, лежащую спиною к нему, руки ее грациозно, как у танцовщицы, закинуты за голову, темные волосы распущены. На ближнем краю лежит, с большим пальцем

во рту, Матрена, другою рукой привольно обнявшая мать. Поначалу ему представляется, что она бодрствует, следя за ним, охраняя мать; но, склонившись над нею, он слышит глубокое, ровное дыхание.

Он шепчет: «Анна!»

Она не шевелится.

Стараясь успокоиться, он возвращается в комнату сына.

Мало ли может быть веских причин, говорит он себе, по которым она предпочла провести эту ночь без него. Но никакие доводы не помогают.

Он вновь пересекает на цыпочках комнату. Мать с дочерью лежат в прежних позах. И вновь его охватывает жуткое чувство, что Матрена наблюдает за ним. Он наклоняется ниже.

Да, так и есть: он смотрит в открытые, немигающие глаза. Спит с открытыми глазами, говорит он себе. Но это неправда. Она не спит, да и не спала; держа во рту палец, она с неослабной бдительностью следила за каждым его движением. Он вглядывается, затаив дыхание, и кажется, что уголки ее рта приподымаются в победной улыбке, улыбке летучей мыши. Да и рука девочки, привольно прокинутая по материнскому телу, напоминает крыло.

Они проводят вместе еще одну ночь, после которой врата затворяются. Она появляется у него в поздний час, не предупредив. И снова он проникает через нее в полную тьму, в воды, где между тел других утопленников колышется и тело его сына. «Не бойся, — хочет шепнуть он, — я буду рядом, я разделю с тобой эту горечь».

Он приходит в себя лежащим на ней, с губами, прижатыми к ее уху.

— Знаешь, где я побывал? — шепчет он.

Она высвобождается из-под него.

— Знаешь, куда ты меня отвела?

Ему не терпится показать ей мальчика, показать в расцвете сил, с блестящими глазами, чистым очерком подбородка, красивым ртом. Хочется вновь облачить его в белую пару, хочется снова услышать ясный, глубокий грудной голос. «Смотри, какого сокровища лишился мир! — хочется крикнуть ему. — Смотри, что мы потеряли!»

Она поворачивается к нему спиной, проводит рукой по длинному бедру вверх-вниз.

— Мне пора, — говорит она, прерывая мысли его, и встает.

Следующей ночью она не приходит, остается с дочерью. Он пишет к ней письмо и оставляет его

на столе. Когда он поднимается поутру, квартира пуста, а письмо, нераспечатанное, так на столе и лежит.

Он заходит в лавку. Анна Сергеевна стоит за прилавком, но, едва завидев его, скрывается в задней комнате, оставляя его наедине со стариком Яковлевым.

Вечером он ждет на улице, пока она выйдет, и, словно тать, крадется за нею до самого дома, нагоняя только в дверях.

— Почему вы меня избегаете?

— Я вас не избегаю.

Он придерживает ее за руку. Здесь темно, в руке у нее корзинка, вырваться она не может. Он прижимается к ней, вдыхая каштановый запах ее волос. Пытается поцеловать, но она уклоняется, и губы его лишь проезжаются по ее уху. В нажиме ее тела не слышится никакого отзыва. Немилость, думает он, вот это и значит впасть в немилость. Он отступается, но на лестнице снова удерживает ее.

— Одно только слово, — говорит он, — почему?

Она оборачивается.

— Разве это не ясно? Зачем все выговаривать вслух?

— Что ясно? Ничего не ясно.

— Вы страдали. Вы умоляли меня.

Он отшатывается.

— Неправда!

— Правда. Тут ничего стыдного нет. Ну и кончено. И вам от этого добра не будет, да и мне, оттого что мною пользуются, точно вещью, тоже.

— Пользуются? Я не пользовался вами! И в мыслях даже не имел!

— Пользовались, чтобы дотянуться до кого-то другого. Не расстраивайтесь. Я ведь не обвиняю вас, просто объясняю. Я не хочу увязать в этой истории. У вас есть жена. Потерпите до времени, когда снова будете с нею.

«Жена». При чем тут жена? «Жена моя слишком молода! — Вот что он хочет сказать. — Слишком молода для меня, такого, каким я стал!» Но разве может он выговорить эти слова?

Да, сказанное ею правда, и даже бóльшая, чем она думает. Когда он вернется в Дрезден, жена, которую он обнимет, будет уже иной, в ней проступят черты, черточки, перенятые ею от этой странной, чувственно одаренной вдовы, черточки, которые сам же он с собою и принесет. И жена станет его посредником, средством дотянуться до этой женщины точно так, как через нее он дотягивается… до кого?

Возможно, лицо его выдает эти мысли. На щеках Анны Сергеевны внезапно разгорается сердитый румянец, она стряхивает с рукава его руку и уходит по лестнице, оставив его позади.

Он поднимается следом, закрывается в своей комнате, пытается прийти в себя. Сердце бьется уже не так сильно. «Павел!» — снова и снова шепчет он, пользуясь именем как заклинанием. Но вместо Павла ему неизменно является иной человек — Сергей Нечаев.

Что толку отрицать — между ним и мертвым юношей разверзлась пропасть. Он гневается на Павла, гневается за измену. Мало удивительного в том, что Павла потянуло к радикальным кругам и что в письмах своих он ни словом о том не обмолвился. Но Нечаев — дело иное. Нечаев не пылкий студент, не молодой нигилист. Это монгол, засевший в русской душе после того, как величайший из всех нигилистов сгинул в пустынях Азии. И Павел, подумать только, Павел — рядовой солдат его армии!

Ему вспоминается «Катехизис революционера», прокламация, ходившая по Женеве как бакунинская, но и пафосом своим, и слогом выдававшая авторство Нечаева. «Революционер — человек обреченный — так начиналась она. —

У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено мыслью, единою страстью — революцией. Он в глубине своего существа разорвал всякую связь с гражданским порядком, со всеми законами, нравственностью этого мира. И если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить». И дальше: «Он не должен ждать для себя никакой пощады. Он каждый день должен быть готов к смерти».

Он каждый день должен быть готов к смерти, не должен ждать для себя пощады: легко сказать, но способны ли дети вполне постичь значение этих слов? Во всяком случае, не Павел, да, верно, и не Нечаев, человек молодой, никого не любящий и любовь внушить неспособный.

На память приходит Нечаев, каким он его видел, — одиноко стоящий в углу женевской обеденной залы, злобно поглядывая по сторонам, жадно набивая рот какой-то едой. Он встряхивает головой, пытаясь отогнать видение. «Павел, Павел!» — шепчет он, призывая другое, так и не приходящее.

Стук в дверь, голос Матрены: «Время ужинать!»

За столом он старается выдерживать любезный тон. Завтра воскресенье, он предлагает отправиться на Петровский, где после полудня будет гулянье с оркестром. Матрена с восторгом соглашается; к его удивлению, соглашается и Анна Сергеевна.

Они договариваются встретиться после службы. Поутру, выходя на улицу, он спотыкается обо что-то в темном подъезде — о бродягу, спящего здесь, завернувшись в пахнущее плесенью старое одеяло. Он чертыхается, бродяга, захныкав, садится.

В храм Св. Григория он приходит еще до окончания службы. Пока он ожидает на паперти, появляется все тот же бродяга, мутноглазый, смрадный. Он заговаривает с ним.

— Вы следите за мною? — гневно вопрошает он.

Их разделяет три-четыре вершка, но бродяга делает вид, что не слышит его и не видит. Выходящие из храма люди удивленно поглядывают на странную пару.

Бродяга убредает, бочком-бочком. Проковыляв с половину квартала, он останавливается, прислоняется к стене, нарочито зевает. Рукавиц у него нет, он использует вместо муфты свернутое

в ком одеяло.

Выходят Анна Сергеевна с дочерью. Путь до парка неблизкий — по Вознесенскому, потом через стрелку Васильевского острова. Они еще не доходят до парка, как он вдруг осознает, что ошибся, глупо ошибся.

Оркестровая эстрада пуста, на лугу вкруг пруда, на котором зимой разбивают каток, никого, только чайки.

Он извиняется перед Анной Сергеевной.

— Времени много, — весело отвечает она, — еще и полдень не наступил. Давайте просто погуляем.

Ее благодушие кажется ему удивительным, еще пуще удивляется он, когда Анна Сергеевна берет его под руку. С Матреной по другую сторону от нее они неторопливо пересекают луг. Семейство, думает он, недостает лишь четвертого, чтобы получилось настоящее семейство. Словно проникнув в его мысли, Анна Сергеевна сжимает ему руку.

Они проходят мимо стада согнанных в камыши овец. Матрена с пучком травы в руке приближается к овцам, те, заблеяв, разбегаются в стороны. Из зарослей вылезает мальчишка с пастушьим посохом в руке и грозно смотрит на нее. На миг

кажется, что между ними вот-вот разразится перебранка, но мальчик сдерживается, и Матрена возвращается к ним.

Прогулка разрумянила ее щеки. Еще станет красавицей, думает он, и будет разбивать сердца.

Что бы подумала жена, если б увидела их? За прежними его опрометчивыми увлечениями неизменно следовало раскаяние, а по пятам за раскаянием — сладострастная тяга исповедаться ей. Исповеди эти, мучительные по выражению, но лишенные точности деталей, приводили жену в смятение и гневили, запутывая их отношения в куда большей мере, чем сама его неверность.

В нынешнем же случае он никакой вины за собою не видит. Напротив, его не покидает необоримое чувство своей правоты. Интересно бы знать, что за ним кроется, — впрочем, нет, на самом-то деле знать этого он не хочет. Сейчас его сердце наполнено чем-то похожим на радость. «Прости меня, Павел», — шепчет он про себя. Однако и этот его шепот неискренен.

Если бы можно было начать жить сызнова, думает он, если бы я снова стал молодым! И может быть, даже так: если бы жизнь была у меня в руках, жизнь, молодость, которую Павел растратил впустую!

А что же женщина, идущая рядом с ним? Сожалеет ли она о порыве, толкнувшем ее к нему? Когда бы этого не случилось, сегодняшняя прогулка могла бы стать началом настоящего ухаживания. Потому что женщина ведь этого именно и желает — ухаживаний, уговоров, домогательств, победы над нею! И даже отдаваясь, она норовит отдаться не с честною прямотою, но не покидая упоительного тумана нерешительности, сопротивления и уступок. Пасть, но никогда не пасть окончательно. Нет, не так: пасть и затем восстать обновленной, пересотворенной, невинной, готовой к новым посягательствам и новым падениям. Игра со смертью, игра в воскрешение.

Как поступила бы Анна Сергеевна, узнав, о чем он думает? Отшатнулась бы в гневе? И это тоже было бы частью игры?

Украдкой он взглядывает на нее, и в этот миг его посещает мысль: «Я мог бы полюбить эту женщину». Острее, нежели телесное влечение, он ощущает нечто такое, что может назвать лишь родством с нею. Они люди одной породы, одного поколения. Внезапно все встает по местам: Павел, Матрена и жена его, Аня, по одну сторону, он с Анной Сергеевной — по другую. Дети против тех, кто уже не дети, тех, кто способен почуять в

любовных корчах начальный привкус смерти. Вот откуда порыв той ночи, откуда этот жар. В его руках она точно Жанна д'Арк, объятая пламенем: дух вырывается из пут своих, между тем как сгорает тело. Битва со временем. Ребенку этого никогда не понять.

— Павел говорил, вы жили в Сибири.

Произнесенные ею слова обрывают его мечтания.

— Да, десять лет. Там я и встретился с матерью Павла. В Семипалатинске. Муж ее служил по таможенной части, он умер, когда Павлуше шел восьмой год. Она тоже умерла несколько лет назад — Павел вам, верно, рассказывал.

— А вы женились опять.

— Да. Что рассказал вам Павел об этом?

— Только то, что жена у вас молодая.

— Она примерно одних с Павлом лет. Некоторое время мы жили все вместе, втроем, в квартирке на Мещанской. Для Павла то была пора не самая счастливая. Он как-то все соперничал с женой. Собственно, когда я сообщил ему, что мы помолвлены, он отправился к ней и самым серьезным образом уведомил ее, что я для нее стар. После он повадился называть себя сиротой. «Сирота съел бы еще кусочек хлебца», «У сироты нет де-

нег» и тому подобное. Мы притворялись, что это шутка, но уж какая там шутка. В общем, в доме стало неспокойно.

— Могу себе представить. Впрочем, и ему ведь можно посочувствовать. Ему, наверное, казалось, что он вас теряет.

— Как бы он мог меня потерять? С того дня, как я стал отцом ему, я ни разу его не подвел. Разве вот сейчас подвожу?

— Конечно же, нет, Федор Михайлович. Но ведь дети — великие собственники. И ревность их одолевает временами, как любого из нас. А ревнуя, мы против собственной воли принимаемся выдумывать всякого рода истории. Норовим нарочно разбередить наши чувства, посильнее себя напутать.

Слова ее схожи с призмой: взглянешь чуть под другим углом — и в них отразится совсем иное значение. Или она к этому и стремится?

Он оглядывается на Матрену. На девочке новые, отороченные овчиной ботики. Ступая по мокрой траве, она оставляет прорезные следы. Лоб ее напряженно наморщен.

— Павел рассказывал, что вы посылали его с записками.

Он ощущает укол боли. Так Павел помнил об

этом!

— Да, правда. За год до нашей свадьбы, в день ее именин, я попросил его отнести от меня подарок. Я совершил ошибку, о которой очень потом сожалел. Непростительно. Я не подумал. Это было самое худшее?

— Худшее?

— Рассказывал ли Павел о чем-то похуже? Мне нужно знать, чтобы, когда я стану молить о прощении, я понимал, в чем повинен.

Она отвечает ему странным взглядом.

— Это не очень честный вопрос, Федор Михайлович. Павла охватывало по временам чувство одиночества. И тогда он рассказывал что-нибудь, а я слушала. Он поведал мне немало историй, порою не очень приятных. Но может быть, это и к лучшему. Может быть, вытаскивая прошлое на свет божий, он переставал мучиться мыслями о нем.

— Матрена! — Он поворачивается к девочке. — А тебе Павел ничего…

Но Анна Сергеевна обрывает его.

— Разумеется, ничего, — произносит она и сразу же говорит ему негромко, но гневно: — Можно ли задавать ребенку такие вопросы!

Они застывают лицом к лицу посредине голого

луга. Матрена хмуро смотрит в сторону, губы ее плотно сжаты. Глаза Анны Сергеевны недобро сверкают.

— Холодает, — говорит она. — Не повернуть ли назад?

7
Матрена

Он не провожает их до дому, а отправляется ужинать в трактир. В задней комнате идет игра в карты. Некоторое время он наблюдает за ней, выпивает, но сам играть не садится. Стоит уже поздний час, когда он возвращается в темную квартиру, в пустую комнату.

Один, одинокий, он позволяет себе потосковать немного, что отчасти даже приятно, по Дрездену, по комфортабельной размеренности тамошнего существования с женой, ревниво оберегающей его покой, прилаживая всю повседневную жизнь семьи к его привычкам.

В шестьдесят третьем нумере он не дома и никогда дома не будет. Он самый временный из жильцов этого дома, причины, по которым он мешкает здесь, так же темны для других, как для него, да и жизнь в такой близи от этой женщины с ее переменчивыми настроениями и ребенка, у которого имеются все основания проникнуться к нему отвращением, не слишком легка. В присутствии Матрены он сознает особенно остро, что

от одежды его начинает попахивать, что кожа его суха и шелушится, что его зубные протезы клацают при разговоре. Тоже и с геморроем его хлопот не оберешься. Железный организм, благодаря которому только и уцелел он в Сибири, начинает сдавать, и зрелище распада его тем более неприятно привередливой в рассуждении чистоплотности девочке, что в ее глазах он заменяет собою существо, богоподобное по красоте и силе. Хотел бы он знать, что она говорит товарищам по играм, когда те спрашивают ее о похоронного обличья госте, никак не желающем собрать пожитки и съехать с квартиры.

«Вы умоляли меня» — его передергивает при всяком воспоминании о сказанных Анной Сергеевной словах. Быть все это время предметом жалости! Он опускается на колени, опирается лбом о постель, пытаясь сыскать дорогу к Елагину острову, к холодной могиле Павла. Павел хотя бы не обратится против него. На Павла он положиться может, на Павла и на его ледяную любовь.

Отец — выцветшая копия сына. Как мог он ожидать, что женщина, видевшая сына в расцвете дней его, станет с расположением смотреть на отца?

Он вспоминает слова, слышанные когда-то в

Сибири от старика каторжанина: «Зачем нам, братцы, старость-то дадена? А затем, чтоб мы умалились, уж до того умалились, что и в игольное ушко смогли бы пролезть». Народная мудрость.

Он стоит и стоит на коленях, но Павел не приходит. Наконец, вздыхая, он забирается в постель.

Он просыпается, охваченный изумлением и счастьем. Еще темно, но чувствует он себя так, словно выспался на семь ночей вперед. Он свеж, полон сил; самая ткань его мозга кажется дочиста промытой. Он с трудом удерживается от того, чтобы выпрыгнуть из постели. Точно дитя на Пасху, которому не терпится поднять всех домашних и поделиться с ними своей радостью. Ему хочется разбудить ее, эту женщину, и пуститься с ней в пляс по квартире. «Христос воскрес!» — хочется крикнуть ему и услышать, как она отзовется: «Воистину воскрес!» — и стукнет своим яйцом о его. И они затанцуют по кругу с крашеными яйцами в руках, и Матреша с ними, в ночной рубашке, сонно спотыкающаяся, счастливая, путающаяся у них под ногами; и тот, четвертый, призрак, тоже заструится меж ними, большеногий, неловкий, улыбающийся: он снова среди детей, родившийся заново, он выпущен из могилы. И заря разгорится над городом, и закричат по дворам петухи, при-

ветствуя новый день.

Радость, восстающая, как заря! Но только на миг. И не потому, что на новое, светозарное небо вновь наплывают тучи. А просто в ту же минуту, когда поднимается во всем своем блеске солнце, по лику его словно бы начинает скользить иное солнце, темное, его антипод. Слово «предвестие» проплывает в сознании во всей его зловещей тягостности. Солнце встает не само для себя, но лишь для того, чтобы затмиться; радость просияла лишь для того, чтобы он знал, как будет выглядеть гибель ее.

Одним торопливым движением он покидает постель. Ближайшие считаные минуты лежат перед ним темным коридором, по которому он должен успеть пробежать. Нужно поспеть одеться и покинуть квартиру, пока его не настиг позор припадка; нужно найти место подальше от глаз людских, место, в котором порядочные люди его не услышат, в котором он сможет сам справиться с приступом. Он выбирается в кромешную тьму коридора. Вытянув руки, точно слепой, он ощупью выходит на лестницу и, держась за перила, начинает спускаться, шажок за шажком. На площадке второго этажа его накрывает волна жути, беспредметного страха. Он забивается в угол,

садится, сжимая руками голову. От рук несет какой-то дрянью, которой он коснулся в темноте, но он их не вытирает. Пусть приходит, в отчаянии думает он, пусть, я сделал все, что мог.

Крик, эхом отдающийся по лестнице, столь громок и страшен, что пробуждает весь дом. Сам же он ничего не слышит, его больше нет, как нет больше времени.

В себя он приходит во тьме столь плотной, что она ощутимо давит ему на глазницы. Он не имеет понятия ни где он, ни кто он. Он — сознание, бессонье, более ничего. Он словно родился минуту назад, в мире неизменяемой тьмы.

Успокойся, твердит сознание, обращаясь к себе, пытаясь умерить свой страх, — ты уже был прежде в этих краях, подожди, что-нибудь к тебе да вернется.

В пространство, заполняющее его изнутри, отвесно рушится тело. Его тело. Воздух свищет в ушах — в его ушах. Ужас сжимает горло — его горло.

Пусть это кончится, думает он, пусть кончится!

Он пробует шевельнуть рукой, но та прижата его телом. Он по-дурацки пытается вытянуть ее из-под себя. Мерзкий запах, одежда мокра. Наконец, словно воду стягивает ледком, в размытой

припадком памяти возникают некие затверде-ния: кто он, где он; и вместе с памятью приходит желание поскорее убраться отсюда, прежде чем кто-нибудь застанет его в этом унизительном положении.

Эти припадки — бремя, которое он влачит по миру. Никогда, никому не открывал он, сколько времени проводит, вслушиваясь в их предзнаме-нования, пытаясь прочесть приметы. «За что мне это проклятие?» — безмолвно кричит он, ударяя в землю жезлом, требуя ответа у скал. Но он не Моисей, скала не разверзается. Да и сами экста-тические приступы ничего не проясняют. Это не посещения некоей силы. Где там, это провалы в пустоту — словно смерч вырывает малый кусок его жизни, не оставляя даже воспоминаний о мраке, в котором он побывал.

Он встает, на ощупь сходит последним маршем лестницы. Его трясет, он ужасно прозяб. Когда он выходит наружу, небо уже светлее. Выпал снег. Трепещущая багровая дымка устилает его белизну. Впрочем, дело вовсе не в снеге, дело в его глазах — глаза дергает такая боль, что он зажимает их холодной ладонью. Голова пульси-рует, точно некий кулак стискивает ее изнутри, отпускает и снова стискивает. Шляпу он потерял

где-то на лестнице.

С непокрытой головой, в грязной одежде, он добредает по снегу до маленькой церковки Искупителя, стоящей близ Каменного моста, и укрывается в ней до часа, в который Матрена с матерью уходят из дому. Тогда он возвращается в квартиру, греет воду, раздевается донага и моется. Он моет и нижнее свое белье тоже и развешивает его в умывальне. Счастье Павла, думает он, что ему не пришлось страдать от припадков этой болезни, счастье, что он родился не от меня! Тут до сознания его доходит ирония, кроющаяся в этих словах, и он стискивает зубы. Голова гудит от боли, красный туман по-прежнему застилает все вокруг. Накинув халат, он ложится в постель и в конце концов проваливается в сон.

Час спустя он просыпается, раздраженный, раздерганный. Кажется, что от глаз врезаются в мозг клинья боли. Кожа точно бумажная, к ней больно притронуться.

В накинутом на голое тело халате он бродит по квартирке Анны Сергеевны, открывая буфеты, заглядывая в ящики. Во всем видны любовь к порядку, опрятность и аккуратность.

В одном из ящиков он находит завернутую в алый вельветин фотографию молодой Анны Сер-

геевны с мужчиной, это, видимо, и есть печатник Коленкин. Облаченный в свой лучший воскресный костюм, Коленкин выглядит изможденным, старым, усталым. Как ощущала себя в подобном супружестве эта сильная, сумрачно-красивая женщина? И почему фотография засунута в ящик? Кладя ее на место, он нарочно проводит большим пальцем по стеклу, оставляя на лице покойного отпечаток.

Ребенком он шпионил за гостями, бывавшими в доме, любил тайком рыться в их вещах. Слабость, которую доныне он относил к нежеланию мириться с ограничениями касательно того, что ему можно знать, а чего нельзя, касательно чтения запретных книг и, стало быть, к его призванию. Но нынче он к самоснисхождению не склонен. Он порабощен злобным духом и сам это сознает. Правда в том, что, роясь вот так в вещах отсутствующей Анны Сергеевны, он испытывает дрожь сладострастного наслаждения.

Закрыв последний ящик, он в беспокойстве слоняется по комнатам, не зная, чем занять себя дальше.

Он открывает чемодан Павла, надевает белую пару. До сих пор он делал это, словно бы приносясь дань мертвому юноше, это был знак вызова

и любви. Но ныне, глядя на себя в зеркало, он видит лишь убогий подлог, а за ним — нечто украдчивое, похабное, нечто такое, чему место за закрытыми дверьми и зашторенными окнами, в комнатах, где мужчины в париках и юбках оголяют зады, чтобы их посекли кнутом.

Уже за полдень, а голова так все и болит. Он ложится, прижимает, словно прикрываясь от удара, руку к глазам. Все кружится, его охватывает чувство падения в бесконечную черноту. Когда он приходит в себя, оказывается, что ему вновь не под силу вспомнить, кто он. Слово «я» он помнит, но при пристальном рассмотрении слово это становится загадочным, как камень среди пустыни.

Это лишь сон, думает он, вот сейчас проснусь, и все опять станет на место. На миг он позволяет себе уверовать в это. Затем ему вдруг открывается ошеломительная правда.

Скрипит дверь, в комнату заглядывает Матрена. Увидев его, она явственно удивляется.

— Вы заболели? — спрашивает она, нахмурясь.

Он даже не пытается ответить.

— Зачем вы этот костюм надеваете?

— Кому же его надевать, как не мне?

Лицо Матрены на миг приобретает сердитое

выражение.

— Тебе известна история этой пары? — спрашивает он.

Матрена трясет головой.

Он садится и указывает ей на изножье кровати.

— Подойди, сядь. История длинная, но я тебе ее расскажу. В позапрошлом году, я тогда был за границей, Павел гостил у своей тетки в Твери. Всего одно лето. Знаешь, где находится Тверь?

— Под Москвой.

— На дороге в Москву. Довольно большой город. В Твери проживал тогда отставной капитан с сестрою, ведшей его хозяйство. Звали ее Марьей Тимофеевной. Она была хромоножка. И с головой у ней не все было в порядке. Женщина достойная, она решительно не умела позаботиться о себе.

Он отмечает про себя, как быстро речь его сбивается на повествовательный лад. Совсем как поршневой двигатель, способный совершать лишь одно движение.

— Капитан, брат Марьи, был, к несчастью, пьяницей. Напившись, он обычно дурно обходился с нею. И ничего после не помнил.

— Что он с ней делал?

— Бил. Только и всего. Почтенное русское заня-

тие. Она на него зла не держала. Возможно, она в простоте своей думала, что это, собственно, и есть мир — место, где тебя бьют.

Внимание ее он завоевал, пора добавить в рассказ напряжения.

— В конце концов, собака или лошадь таким, наверное, и видят наш мир. Почему же Марья должна была видеть его по-другому? Лошадь не понимает, что она рождена для того, чтобы тянуть телегу. Она думает, что она здесь для побоев. А телега кажется ей просто огромной вещью, к которой ее привязывают, чтобы она не могла убежать, когда ее бьют.

— Не… — шепчет она.

Он понимает: душа девочки не приемлет картину мира, которую он ей предлагает. Ей хочется верить в добро. Но вера ее шатка, лишена жизненной силы. Он не испытывает жалости к ней. «Такова Россия!» — хочет сказать он, вбить в нее эти слова, втереть их в ее лицо. Быть в России нежным цветком непозволительно. В России до́лжно быть лопухом, на худой конец — одуванчиком.

— Однажды капитан явился с визитом. Он не состоял у тетушки Павла в близких друзьях, но, однако ж, по временам заходил к ней и сестру

с собой приводил. Может быть, когда очень уж запивал. Павла в тот раз в доме не было.

Гость из Москвы, молодой человек, не сознающий, кто перед ним, разговорился с Марьей и стал расспрашивать ее о том, о другом. Возможно, из одной лишь учтивости. А возможно, просто пошалить захотел. Марья взволновалась, воображение ее разыгралось. Она сказала ему, что помолвлена или, как она выразилась, «обещалась». «А жених ваш, он что же, из этих мест?» — поинтересовался гость. «Да, тутошний», — отвечала она, жеманно улыбнувшись тетушке Павла (вообрази себе Марью, долговязую, нескладную, далеко уж не юную и некрасивую).

Тетушка Павла, стремясь соблюсти приличия, притворно поздравила Марью и капитана тоже. Капитан, натурально, разозлился на сестру и, едва они воротились домой, нещадно избил ее.

— Значит, она сказала неправду?

— Да уж какую там правду, это разве в голове ее было правдой. А мужчиной — это все теперь обнаружилось, — который в фантазиях ее хотел жениться на ней, именно и был не кто иной, как Павел. Откуда взялась у нее эта мысль, я не знаю. Быть может, он улыбнулся ей при одной из случайных встреч или о капоре ее с похвалой

отозвался — сердце Павел имел доброе, это было одним из лучших его качеств, верно? И она, должно быть, пришла в тот раз домой, мечтая о нем, и вскоре домечталась до того, что она любит его, а он — ее.

Говоря, он искоса посматривает на девочку. Матрена нетерпеливо ерзает и на миг сует большой палец в рот.

— Вообрази, как развлек все тверское общество рассказ о Марье и ее фантастическом поклоннике. Но давай мы с тобой вернемся к Павлу. Услышав этот рассказ, он не задумываясь отправился к портному и заказал красивую белую пару. А когда костюм был готов, сделал визит к Лебядкиным и цветы с собою принес — я думаю, розы. И хоть капитан Лебядкин поначалу принял его недружелюбно, Павел все же сумел склонить его на свою сторону. С Марьей он вел себя очень почтительно, с уважением, как истый джентльмен, хоть ему в ту пору и двадцати еще не было. Визиты его продолжались все лето, пока он не оставил Тверь и не воротился в Петербург. То был урок для всех, урок рыцарства. И для меня это тоже стало уроком. Вот каков был Павел в юности. И вот какова история белой пары.

— А Марья?

— Марья? Марья, сколько я знаю, и поныне живет в Твери.

— Она знает?

— О Павле? Скорее всего, нет.

— Почему он убил себя?

— Ты думаешь, он убил себя?

— Мама так говорит.

— Никто себя не убивает, Матреша. Ты можешь подвергнуть жизнь свою опасности, но убить себя, убить по-настоящему, не можешь. Всего вероятнее, Павел рискнул собою, желая узнать, достаточно ли Бог любит его, чтобы спасти. Он задал Богу вопрос: «Спасешь ли Ты меня?» И Бог ответил ему. Бог сказал: «Нет». «Умри», — сказал Бог.

— Так выходит, это Бог убил его?

— Бог отказал ему. Бог мог бы сказать: «Да, я спасу тебя». Но предпочел ответить отказом.

— Почему? — шепчет она.

— Он сказал Богу: «Если любишь меня, спаси. Если Ты здесь, спаси». Но услышал в ответ только молчание. Тогда он сказал: «Я знаю, Ты здесь, знаю. Ты слышишь меня. Жизнью моей бьюсь об заклад, что Ты меня спасешь». А Бог так ничего и не сказал. Тогда он сказал Богу: «Сколько б Ты ни молчал, я знаю, Ты меня слышишь. Я поставлю

жизнь мою на кон — поставлю сию же минуту!» И поставил. А Бог не явился ему. Бог не вмешался.

— Почему? — снова шепчет она.

Он улыбается в бороду неприятной, кривой улыбкой.

— Как знать? Возможно, Бог не любит, когда Его испытывают. Возможно, принцип, согласно которому испытывать Его не следует, важнее для Него, чем жизнь одного ребенка. А может быть, причина тут в том, что Бог попросту глуховат. Он, верно, теперь уже очень стар, стар как мир, если не старше. Может быть, Он стал туг на ухо и глазами ослаб, как всякий старик.

Девочка побеждена. У нее нет больше вопросов. Он заключает ее в объятия, ощущая ее дрожь. Он гладит ее волосы, виски. В конце концов она дает волю слезам и, припав к нему, прижав кулачки к подбородку, разражается плачем.

— Я не понимаю, — всхлипывает она, — почему он должен был умереть?

Ему хотелось бы сказать: «Он не умер, он здесь; я — это он». Но слова нейдут из него.

Он думает о семени, которое продолжает сколько-то времени жить в испустившем дух теле, не ведая, что истечь ему уже никогда не придется.

— Я знаю, ты любила его, — хрипло шепчет

он. — И он это знает. У тебя доброе сердце.

Если бы только можно было вынуть семя из тела, ну хотя бы одно, и дать ему новое пристанище!

Он вспоминает терракотовую статуэтку, виденную в Берлине в этнографическом музее: индийский бог Шива, лежащий навзничь, синий, мертвый, и оседлавшая его фигурка ужасной богини — многорукой, с разинутым ртом, с выпученными глазами, исступленно скачущей на нем, вытягивая из мертвого тела божественное семя.

Ему не составляет труда вообразить эту девочку доведенной до исступления. Воображение его, похоже, не ведает пределов.

Мысли его возвращаются к ребенку, замерзшему, мертвому, лежащему в железном гробу под засыпанной снегом землей, ожидающему зимы, ожидающему весны.

Дальше этого осквернение не заходит: обнятая девочка, пять его пальцев, белых, онемевших, стискивают ей плечо. Впрочем, она могла бы лежать перед ним нагой, это мало что изменило бы. Он думает о девочках, отдающихся в естественном порыве доброты, из стремления к подчиненности. О девочках-проститутках, которых знал здесь и в Германии, о мужчинах,

выискивающих этих девочек потому, что под накрашенными личиками их, под вызывающими нарядами сквозит неосквернённость, подобие девственности, отчего-то этих мужчин оскорбляющее. «Она проституирует Деву», — говорит такой мужчина, узнавая душок невинности в жесте, с которым девочка прикрывает ладонями груди, в движении, которым она раздвигает бедра. В крохотной, пропитанной затхлыми запахами комнатке от нее веет еле слышным, безнадежным дуновением весны и цветения, которого вынести он не может. Скрежеща зубами, он намеренно причиняет ей боль, потом еще и еще, не отрывая взгляда от лица ее в ожидании, когда в нем проступит нечто, отличное от гримасы страдания, — изумленный испуг живой твари, начинающей сознавать, что жизни ее угрожает опасность.

Видение, приступ, усмешка воображения проходят. Приласкав ее напоследок, он отнимает руку и снова превращается в того человека, каким был с нею прежде.

— Вы не хотите устроить алтарь?

— Я пока не думал об этом.

— Можно вон в том углу, где свеча. Поставите там его портрет. Если хотите, я буду следить,

чтобы свеча не гасла, когда вы уходите.

— Если устраивать алтарь, так навсегда, Матреша. А твоя матушка, когда я уеду, верно, захочет сдать эту комнату кому-то еще.

— А когда вы уедете?

— Пока не знаю, — отвечает он, избегая ловушки. И следом: — Траур по умершему дитяти скончания не имеет. Ты это хочешь от меня услышать? Вот, я сказал. Это правда.

То ли оттого что она замечает, как изменился его тон, то ли слова его задевают девочку за живое, но ее приметно передергивает.

— Если ты вдруг умрешь, твоя матушка будет до конца своих дней скорбеть о тебе. — И, к собственному удивлению, он добавляет: — И я тоже.

И *это* правда? Нет, покамест нет, но, возможно, станет ею.

— Тогда можно мне зажечь для него свечу?

— Да, можно.

— И следить, чтобы она не гасла?

— Да. Но почему для тебя так важна эта свеча?

Матрена неловко мнется.

— Не хочу, чтобы он был в темноте, — наконец отвечает она.

Странно, но и ему порой видится нечто подобное. Корабль в море, бурная ночь, мальчик

падает за борт. Борясь с волнами, как-то ухитряясь держаться на плаву, мальчик в ужасе кричит: набирает воздуху в грудь и кричит, набирает и кричит, взывая к кораблю, который был ему домом и который уже не дом его больше. На корме качается фонарь, к которому прикован взгляд мальчика, — крапинка света в пустыне воды и мрака. Пока я вижу этот свет, говорит он себе, я не погиб.

— Можно, я сейчас и зажгу? — спрашивает девочка.

— Как хочешь. Но портрета мы ставить не будем, пока не будем.

Она зажигает свечу, ставит ее под зеркало. Затем с доверчивостью, берущей его врасплох, снова садится на кровать, прислонясь головою к его плечу. Вдвоем они смотрят на ровное пламя свечи. С улицы внизу долетают крики играющих детей. Пальцы его стискивают плечо девочки, он прижимает ее к себе. Он чувствует, как под рукою его складываются одна за другой мягкие, отроческие косточки, точно птица складывает крыло.

8
Иванов

Он засыпает, как засыпает каждую ночь, с намерением отыскать дорогу к Павлу. Однако этой ночью его будит — почти сразу, как кажется, — голос, тонкий до бестелесности, зовущий с улицы внизу. «Исаев!» — вновь и вновь терпеливо взывает голос.

Ветер свистит в камышах, вот и все, думает он и благодарно проваливается назад в забытье. Лето, ветер в камышах, синее небо, испещренное высокими облаками, и он, насвистывая, шагающий вдоль ручья с тростью в руке, которой он лениво постукивает по камышинам. Взлетают, шелестя крыльями, ткачики. Он останавливается, замирает, вслушиваясь. Кузнечики тоже вдруг примолкают, всего только и слышно, что звук его дыхания да шелест камыша на ветру. «Исаев!» — зовет его ветер.

Он вздрагивает и просыпается. Глухая ночь, в доме все стихло. Подойдя к окну, вглядываясь в тени и в лунный свет, он ждет повторения зова. Вот наконец. Та же тональность, те же длитель-

ность и интонация, что у слова, еще отдающегося в ушах, но это не человечий зов, а тоскливый собачий вой.

Значит, это не Павел зовет его, а всего только существо, для него чужое, — собака, воющая от тоски по отцу. Что же, пусть собачий отец, кем бы он ни был, спустится в холод и тьму и примет в объятия свое неуклюжее, смрадное чадо. Пусть теперь *он* успокаивает свое дитя, пусть убаюкивает его колыбельными песнями.

Снова воет собака. Никаких признаков пустынной равнины в серебристом свету: собака, не волк, собака, не сын его. И стало быть? И стало быть, он обязан стряхнуть с себя оцепенение! *Поскольку* это вовсе не сын его, ему надлежит не возвращаться в постель, а одеться и ответить на зов. Если он ожидает, что сын придет, аки тать в нощи, но прислушивается лишь к воровскому призыву, сына ему никогда не увидеть. Если он ждет, что сын заговорит с ним голосом нежданного, ему никогда не услышать его. До тех пор, пока он ждет лишь того, чего вовсе не ждет, то, чего он не ждет, не объявится. И стало быть — парадокс в парадоксе, тьма, запеленутая во тьму, — ему надлежит отзываться на все нежданное.

Глядя из третьего этажа, полагаешь, будто най-

ти собаку не составит труда. Но, выйдя на улицу, он в замешательстве останавливается. Откуда доносится вой: слева, справа, из какого-то дома насупротив или из-за домов, а может, и вовсе из внутреннего двора? И который из домов? Да и сами подвывания кажутся теперь короче и ниже, даже тембр их как-то переменился — они, собственно говоря, почти и не походят на те, что он слышал вначале.

Он тычется вперед и назад, пока не находит между домами узкий проулок, которым пользуются ночные возчики нечистот. В одном из ответвлений этого прохода он наконец натыкается на собаку. Собака привязана тонкой цепочкой к водосточной трубе, цепочка обвила переднюю лапу и выворачивает ее при каждом рывке. При его приближении собака, поскуливая, отпрядывает как можно дальше. Она прижимает уши, вытягивается на земле, переворачивается на спину. Сука. Он наклоняется, отматывает цепочку. Собаки нюхом чуют страх, но даже на таком холоду он слышит зловоние ужаса, одолевающего *эту* собаку. Он почесывает ее за ухом. Не меняя позы, собака робко лижет его руку.

Так, значит, вот чем придется мне заниматься до скончания дней, думает он, — заглядывать в

глаза псов и попрошаек?

Собака встает. Хоть он и не любитель собак, от этой он не отстраняется, оставаясь сидеть на корточках, пока ее теплый, мокрый язык облизывает ему лицо, уши, слизывает соль с его бороды.

В последний раз погладив ее, он поднимается. Разглядеть в лунном свете циферблат своих часов ему не удается. Собака натягивает цепочку, скулит, норовя последовать за ним. Кто же это так приковывает свою собаку на ночь под открытым небом? И все же он не спускает ее с цепи, но поворачивается к ней спиной и уходит, провожаемый безутешным воем.

Почему именно я? — торопливо шагая, думает он. Почему я должен волочь на себе все тяготы мира? Что до Павла, то если он ныне лишился всего, так пусть хоть смерть его останется с ним, а не будет отобрана у него и обращена отцом его в орудие собственного обновления.

Нет, не так. Подобные доводы — лицемерные, жалкие — не прельщают его и на миг. Смерть Павла не Павлу принадлежит — это всего лишь словесный выверт. Покуда он здесь, смерть Павла — его смерть. Куда бы он ни пошел, он понесет Павла с собой, точно посиневшего от стужи малютку. («Кто малютку обогреет?» — едва ли не

слышит он невесть откуда взявшиеся незатейливые слова, произнесенные прямо в его голове по-крестьянски напевным голосом.)

Павел не заговорит с ним, не подскажет, что делать. «Возьми одного из малых сих и опекай его» — если б он знал, что это сказано Павлом, он подчинился бы беспрекословно. Но это не им сказано. «Один из малых сих» — кто это? Брошенная на холоде собака? Кого он должен освободить и взять к себе, и кормить, и опекать — собаку или ютящегося под мостом грязного, пьяного нищего в изодранном платье? Чувство страшной безысходности овладевает им, и хоть оно как-то связано — неведомо как — с тем, что он не имеет понятия, который теперь час, коренной основой этого чувства является становящаяся все более определенной уверенность, что никогда больше не выйдет он ночью на собачий призыв, что возможность оставить себя такого, какой он есть, позади и стать тем, кем он мог бы стать, для него миновала. Я — это я, безнадежно думает он, я прикован к себе пожизненно. И что бы там ни вспрянуло, устремляясь ко мне, я оказался того недостоин, и вот оно у меня отнято.

И все-таки, даже закрывая за собою дверь, он сознает, что у него еще есть возможность вернуться

в проулок, отвязать собаку, и привести ее в подъезд шестьдесят третьего нумера, и сделать ей лежанку под лестницей, хоть, впрочем, он знает и то, что, если он приведет собаку сюда, она захочет последовать за ним и дальше, а если он снова привяжет ее, то лай и скулеж перебудят весь дом. «Это не сын мой, всего лишь собака, — твердит он себе, — что мне до нее?» Но и на это он знает ответ: Павел не будет спасен, пока он не отвяжет собаку и не приведет ее в свою постель, пока не уложит в нее одного из «малых сих» — нищего, да и нищенку в придачу и многих иных, ему в эту минуту неведомых, — хоть и тогда полной уверенности он не получит.

Он издает громкий стон, стон отчаяния. «Что же мне делать?» — спрашивает он. Если бы только я мог заглянуть в свою душу, возможно, мне было б дано узнать ответ? Но он не с душой своей утратил всякую связь, а с истиной. Или — изнанка той же мысли — связь утрачена вовсе не с истиной, напротив, истина изливается на него водопадом, безудержно и будет изливаться, пока он в ней не утонет. А следом он думает (выворачивая мысль наизнанку, выворачивая уже вывернутую: вот на какие иезуитские фокусы приходится ныне полагаться, чтобы хоть что-то додумать до кон-

ца): захлебнуться под водопадом, быть может, мне это и требуется? Все больше воды, все выше разлив, все бóльшая глубина.

Стоя посередине покрытой снегом улицы, он подносит к лицу холодные, пахнущие собакой ладони, прикасается к холодным слезам на щеках, пробует их на вкус. Соль, а вот кому соли? Очень ему сдается, что никакой собаки он не спасет ни в эту ночь, ни в следующую, если следующая когда-нибудь наступит. Он ожидает знамения и готов побиться об заклад (выражения поблагороднее, к которому он решился бы прибегнуть, не существует), что собака таковым не является, никакое она не знамение, просто собака, одна из многих воющих ночами собак. Впрочем, сознает он и то, что, пока он будет вилять и лукавить, пытаясь провести различение между вещами, каковые суть просто вещи, и теми, в которых таятся знамения, спасения ему не видать. Что в самой его логике и кроется причина его поражения, что, ощущая ее железную твердость, он забредает в тупик, будто та же собака, ломающая зубы о цепь, на которой сидит. Остерегись, однако, остерегись, говорит он себе, собака на цепи, потом вторая собака — ничего они сами собою не обозначают, нет в них никаких прозрений, одно лишь живот-

ное сходство.

Стиснув в карманах кулаки, склонив голову, он стоит посреди улицы на одеревеневших ногах, ощущая, как обращается в лед собачья слюна на его бороде.

Возможно ли, что в эту минуту кто-то прячется в темном подъезде шестьдесят третьего нумера, наблюдая за ним? Различить соглядатая ему не по силам, да и пятно посветлее, принимаемое им за лицо, может быть всего лишь пятном на стене. Однако, чем дольше он всматривается, тем с пущей, кажется, пристальностию всматривается в него это лицо. Взаправду лицо. В его воображении и так уж не протолкнешься от бородатых мужчин со сверкающими глазами, таящихся по темным проходам. И все-таки, когда он вступает в непроглядный мрак лестницы, ощущение чужого присутствия становится столь отчетливым, что дрожь пробегает по спине его. Он замирает на месте, задерживает дыхание, вслушивается. Потом зажигает спичку.

В углу скрючился, перемигивая свет, человек. И хоть голова и рот его обмотаны нынче шерстяным шарфом, а плечи покрывает одеяло, он узнает нищего, с которым давеча говорил на паперти.

— Кто вы? — надтреснутым голосом спрашивает он. — Почему не оставляете меня в покое?

Спичка гаснет. Он зажигает другую.

Мужчина неуступчиво качает головой. Рука выползает из-под одеяла, оттягивает шарф ото рта.

— Не вам мне приказывать, — говорит он. Воздух наполняется смрадом гниющей рыбы.

Гаснет и эта спичка. Он начинает подниматься по лестнице. Однако в голову назойливо лезет парадокс: «Жди того, кого не ждешь». Превосходно; но следует ли ему теперь обходиться со всяким нищим как с блудным сыном — прижимать к груди, вводить в дом, устраивать пир? Да, именно так и сказал бы Паскаль: ставь на все, на каждого нищего, на каждого шелудивого пса, только так ты будешь уверен, что Единый, истинный сын, тать в нощи, не ускользнет из сети твоей. А Ирод поддакнул бы для верности: вырезать всех детей без изъятия.

Ставить на все номера — разве это игра? Без риска, без подчинения голосу, доносящемуся откуда-то сквозь стук падающих костей, что божественного останется в ней? Разумеется, Богу это известно, Он не оставит милостию Своей прирожденного игрока! И разумеется, в жене, когда муж ее опускается перед ней на колени и кается

в проигрыше последнего их рубля, и бьет себя в грудь, и лобзает подол ее платья, в жене, которая поднимает его, и утирает ему слезы, и, не говоря ни слова, выходит, чтобы заложить обручальное кольцо свое, и возвращается с деньгами («Вот!»), дабы муж мог вернуться в игорный дом и сделать последнюю ставку, которая все искупит; разумеется, в этой женщине присутствует божественное начало, в женщине, ставящей на мужчину, у которого ничего не осталось, в женщине, которая, даже когда проиграно и заложенное ею кольцо, снова выходит в ночь и возвращается с деньгами для новой ставки!

А та женщина наверху, женщина, чье даже имя он, сдается, на минуту забыл, которую он даже путает временами с Gnadige Frau[2], их дрезденской квартирной хозяйкой, — в ней тоже присутствует это начало? Он ничего не знает о ней, кроме важнейшей, самой сокровенной из тайн — того, как она отдается. В состоянии ли мужчина понять по тому, как отдалась ему женщина, как отдастся она богу случая? Есть ли в ней этот порыв, порыв, которому все равно, куда он ведет — к наслаждению или к боли, — который

---

[2] Примечания: 2
Достопочтенная фрау (*нем.*).

пользуется чувственным телом лишь потому, что не можем же мы жить бестелесно? Готова ль она к близости, при которой тела втискиваются друг в друга, в конце концов продираясь во тьму, где ничего уже невозможно расслышать, кроме хлопанья простыней, схожего с хлопаньем крыл?

Воспоминания о проведенных с нею ночах наплывают в такой неожиданной полноте, что все перепутавшееся в нем распрямляется, указуя, точно стрелой, на нее. Вожделение во всей его роскоши сотрясает его. Она, думает он, она единственная, кого я желаю. А потому…

А потому он, улыбнувшись себе самому, поспешно сходит по лестнице и ощупью пробирается в угол, в котором свил себе гнездышко бродяга, наемный доглядчик, шпион.

— Идемте, — говорит он в темноту, — у меня найдется для вас постель.

— Я на посту, а поста покидать не положено-с, — с насмешливым вызовом отвечает бродяга.

Однако теперешнее его настроение трудно испортить.

— Тот, кого вы поджидаете, придет и на третий этаж, уверяю вас. Постучится в дверь, и будет терпеливо ждать, и ни за что не уйдет.

Долгое время слышится какая-то возня, шур-

шание бумаги.

— А свету у вас больше нет? — спрашивает бродяга.

Он зажигает еще одну спичку. Бродяга торопливо упихивает свое имущество в мешок и встает.

Спотыкаясь во тьме, будто двое пьянчужек, они взбираются по лестнице. У двери своей комнаты он шепчет бродяге, чтобы тот не шумел, и берет его за руку. Рука неприятно пухлая.

Оказавшись в комнате, он зажигает лампу. Сказать о возрасте незнакомца что-либо определенное трудно. Глаза у него молодые, но в редких рыжеватых волосах и веснушках на черепе чудится что-то усталое, пожившее, да и в манере держать себя присутствует изношенность, порожденная унижениями и годами.

— Иванов, Петр Александрович, — представляется бродяга, прищелкивая каблуками и отвешивая легкий поклон. — Чиновник в отставке.

Он указывает на кровать.

— Ложитесь.

— Вы небось гадаете, — говорит бродяга, пробуя рукой кровать, — как это человек моего звания попал в шныри (мы это так промеж себя называем — шныри)?

Иванов ложится, вытягивается.

Неприятное предчувствие посещает его: похоже, он связался с одним из тех нищих, которые, не умея жонглировать или играть на скрипке, полагают себя обязанными отплатить за милостыню рассказом о своей жизни.

— Говорите, пожалуйста, потише, — просит он. — И разуйтесь.

— Вы ведь тот самый господин, у кого сына убили, не правда ли? Примите глубочайшие мои соболезнования. Я-то знаю, что вы должны чувствовать. Не вполне, конечно, но отчасти. Сам двух детишек лишился. В одночасье. Менингитическая лихорадка по-научному. Супруга моя так и не оправилась от удара. Их можно было б спасти, да деньги-то, чтобы докторам хорошим платить, где их возьмешь? Трагедия-с, а кому до нее дело? Нонче куда ни глянь, все сплошь трагедии. На трагедиях у нас теперь мир стоит. — Он садится. — Ежели позволите дать вам совет, Федор Михайлович (вы ведь не против, правда?), ежели готовы вы восприять совет от человека, прошедшего, некоторым образом, через горнило-с, то я вам так скажу: не противьтесь своему горю. Поплачьте, как вот женщины плачут. Это великий у них секрет, у женщин-то, коим и обретают они власть над такими, как мы. Женщины знают,

когда нужно дать себе волю и выплакаться. А мы все в себе закупориваем, точно в бутылке, вот и бродит оно там, и бродит, пока из него не вызреет истинный сатана-с! Тут мы, известное дело, идем и совершаем какую-нибудь глупость, чтобы избыть его хоть на часок-другой. Да-с, глупость-то совершаем, а после всю жизнь и каемся. А женщины не таковы, потому как слезный секрет знают-с. Учиться нам надо у прекрасного пола, Федор Михайлович, плакать учиться! Вот, видите ли, я плачу и не стыжусь: о следующий месяц три года исполнится со дня трагедии-то, а я плачу и стыда не имаю!

Действительно, по щекам его катятся слезы. Он утирает их рукавом, но слезы льются и льются. И кажется, ничуть не мешают ему говорить. Собственно, он даже веселым выглядит.

— Я, верно, о деточках моих покойных так и прогорюю всю жизнь, — говорит он.

Иванов продолжает что-то лепетать о своих «деточках», его же мысли разбредаются. Отчего люди вечно лезут ко мне со своими историями, не по причине ли писательского звания моего? Думают, у меня своих историй недостает? Он измучен, голова так до сих пор и болит. Сидя на единственном в комнате стуле, он слушает

птиц, уже начавших посвистывать за окном, и изнывает от желания уснуть, — изнывает, если правду сказать, от желания забраться в кровать, которую уступил.

— После поговорим, — раздраженно прерывает он Иванова, — спите, иначе какой смысл в этой…

Он колеблется в поисках слова.

— В этой милостыне? — лукаво подсказывает Иванов. — Так вы желали выразиться?

Он не отвечает.

— Потому что, смею вас уверить, милостыни также стыдиться не стоит, — негромко продолжает Иванов, — право же, не стоит. Как все равно и горя. Потому как это суть благие порывы. Мы вот все думаем, будто они принижают нас, порывы-то эти благие, ан нет — возносят-с. А Он все их видит и каждый в книгу записывает. Бог все тайники наших сердец проницает.

Он с усилием подымает веки. Иванов сидит посреди постели, скрестив, точно идол, ноги. «Шарлатан!» — думает он. И закрывает глаза. Когда он просыпается, Иванов все еще здесь, спит, вытянувшись в кровати, сложив под щекою ладони. Рот его приоткрыт, с губ, маленьких, розовых, как у младенца, слетает чуть слышный храп.

Гость задерживается у него до позднего утра.

Иванов — начало нежданного, думает он, ну что же, посмотрим, куда нежданное нас заведет!

Никогда еще время не тянулось так медленно, никогда в воздухе не ощущалось столь полное отсутствие богооткровения.

Наконец, наскучив бездельем, он будит Иванова.

— Ступайте, — говорит он, — смена ваша кончилась.

Иванов, похоже, не замечает иронии. Он выглядит свежим, веселым, хорошо отдохнувшим.

— Ауф! — зевает он. — Не грех бы сортир навестить.

И, вернувшись, спрашивает:

— А завтраком вы со мной не поделитесь, а?

Он ведет Иванова в другую комнату. Завтрак его стоит на столе, но аппетита он не ощущает.

— Ваш, — отрывисто произносит он.

Глаза Иванова вспыхивают, струйка слюны стекает по подбородку. Впрочем, ест он благопристойно, а отхлебывая чай, оттопыривает согнутый мизинец. Покончив с едой, он откидывается на стуле и удовлетворенно вздыхает.

— До чего же я рад, что пути наши перекрестились! — говорит он. — Мир бывает иногда очень холодным местом, Федор Михайлович, да

вы и сами, наверное, знаете! Я не жалуюсь, заметьте! Всем нам воздается по заслугам нашим, в высшем, стало быть, смысле. И все же я иногда подумываю: а не заслужили ли мы также, каждый из нас то есть, пристанища, приюта, в котором правосудие смягчится на время и кто-нибудь нас да пожалеет? Это, если угодно, вопрос, вопрос философический. Пусть даже в Писании про то не сказано, но из духа-то Писания не следует ли, что мы заслуживаем и того, чего не заслужили? Как вы это разумеете?

— Несомненно, следует. Сожалею, но это не моя квартира. И вам самое время уйти.

— Я мигом-с. Дозвольте только одно напоследок сказать. Это, знаете, не праздные были слова, те, что я вам ночью сказал, о Боге, проницающем тайники сердец наших. Я, конечно, не блаженный юродивый, но ведь отсюда не следует еще, что и я не могу истину высказать. Истина, как сами изволите знать, ходит путями извилистыми, неисповедимыми. — Он значительно прикладывает палец ко лбу. — Вам ведь и не погрезилось — не правда ли? — когда вы впервые меня увидали, что мы когда-нибудь будем сидеть с вами рядком-с да чаи распивать самым то есть цивилизованным манером. Ан вот они мы, сидим-с!

— Прошу простить, я задумался о своем и как-то упустил суть рассуждений ваших. Вам, право же, пора.

— Да, пора, тоже и у меня свои обязанности имеются. — Он встает, накидывает одеяло, как пелерину, на плечи, протягивает руку. — Всего вам доброго. Приятно было побеседовать с человеком образованным.

— Всего доброго.

Какое облегчение — избавиться наконец от него. В комнате висит затхлый, рыбий какой-то запах. Не обращая внимания на холод, он растворяет окно.

Спустя полчаса кто-то стучится в квартиру. «Только бы не Иванов!» — думает он и, сердито нахмурясь, распахивает дверь.

Перед ним стоит ребенок, толстая девочка в темном платье, какие носят послушницы. Лицо ее кругло, невыразительно, скулы так высоки, что почти закрывают маленькие глаза, волосы собраны назад и заплетены в косичку.

— Вы отчим Павла Исаева? — на удивление низким голосом спрашивает она.

Он кивает.

Она вступает в квартиру и закрывает за собою дверь.

— Я была Павлу другом, — объявляет она.

Он думает, что за этим последуют соболезнования. Но нет. Она стоит перед ним, свесив руки, и разглядывает его с бесстрастным, настороженным спокойствием борца, ожидающего начала схватки. Грудь ее ровно вздымается и опадает.

— Не позволите ли взглянуть на то, что после него осталось? — спрашивает она наконец.

— Осталось очень немногое. Могу я узнать имя ваше?

— Катри. Пусть немногое, я бы все же взглянула. Я уже в третий раз захожу. В первые два дура хозяйка меня не впустила. Надеюсь, вы так не поступите.

Катри. Чухонское имя. Да и похожа она на чухонку.

— У нее, полагаю, имелись на то свои причины. Вы хорошо знали моего сына?

На этот вопрос она не отвечает.

— Вы понимаете, что вашего пасынка убила полиция? — буднично роняет она.

Время останавливается. Он слышит, как стучит его сердце.

— Убили, а потом сочинили басню насчет самоубийства. Не верите? Не хотите — не верьте.

— Зачем вы говорите мне это? — пересохшим

шепотом спрашивает он.

— Как зачем? Затем, что это правда. Зачем же еще?

Нельзя сказать, что она настроена воинственно, но что-то начинает ее беспокоить. Она принимается мерно переминаться с ноги на ногу, слегка покачивая руками. При всей ее коренастости чухонка эта оставляет впечатление гибкости. Неудивительно, что Анна Сергеевна не пожелала иметь с ней никаких дел!

— Нет. — Он качает головой. — То, что осталось после сына, это все частное, семейное. Будьте любезны, объясните мне цель посещения вашего.

— Бумаги какие-нибудь были?

— Бумаги были, но их больше нет здесь. К чему они вам? — И тут его осеняет. — Вы из нечаевских?

Вопрос не берет ее врасплох. Напротив, она улыбается, приподнимая брови, вполне обнаруживая наконец-то глаза, сияющие, торжествующие. Конечно, она из нечаевских! Воительница, и это раскачивание ее — просто воинственный танец, танец человека, рвущегося в бой.

— Будь я из них, разве бы я призналась? — рассмеявшись, отвечает она.

— А известно ли вам, что полиция присматри-

вает за этим домом?

Вглядываясь в лицо его, она покачивается с пяток на носки и точно старается внушить ему нечто взглядом.

— Вот в самую эту минуту внизу сидит их человек, — продолжает он.

— Где?

— Вы его не приметили, но он-то вас приметил, будьте благонадежны. Он притворяется нищим.

Улыбка ее становится шире, она определенно веселится от всей души.

— Думаете, полицейскому шпиону хватит ума обратить на меня внимание? — спрашивает она.

Тут она проделывает нечто странное: приподняв подол платья, дважды подпрыгивает, выставляя напоказ грубые черные башмаки и белые нанковые чулки.

Она права, думает он, ее можно принять за девочку, пусть и бесноватую. Это бес корчится в ней, скачет, неспособный усидеть на месте.

— Довольно! — холодно произносит он. — Для вас мой сын ничего не оставил.

— Ваш сын! Он вам и сыном-то не был!

— Он был мне сыном и всегда им будет. А теперь уходите, прошу вас. Я не желаю продолжать этот разговор.

Он открывает дверь и указывает ей на лестницу. Выходя, она нарочно наталкивается на него. Ощущение остается такое, точно его пнула свинья.

Когда он после полудня оставляет дом, Иванова нет ни слуху ни духу; когда возвращается — тоже. Впрочем, его ли это забота? Если дело Иванова доглядывать, оставаясь незримым, для чего ему хлопотать о том, чтобы узреть Иванова? И даже если в нынешней то есть шараде Иванов играет роль ангела Божия — потому только ангела, что никакой он не ангел, — почему *он* должен принимать на себя роль человека, ангела взыскующего? Пусть ангел постучит в мою дверь, я не дрогну, я дам ему кров, для заключенного мною условия довольно и этого. Но и едва сказав себе это, он сознает, что солгал, что в его власти полностью и навсегда избавить Иванова от зябкого бдения.

Он раздраженно бродит и бродит по комнате, пока не понимает наконец, что выбора у него не осталось — он должен спуститься вниз и отыскать побродяжку. Однако под лестницей Иванова нет, на улице тоже, поиски оказываются напрасными. Он облегченно вздыхает. Я сделал что мог, думает он.

Но в глубине сердечной он сознает, что сделал

не все. Он мог сделать больше, гораздо больше.

9
Нечаев

На следующий день, бродя в окрестностях Сенного рынка, он вдруг примечает несколько впереди плотную, почти шарообразную фигуру давешней чухонки. Она не одна. Рядом с нею шагает женщина, рослая и худая, шагает так споро, что чухонке, чтобы держаться с ней вровень, приходится передвигаться едва ли не вскачь.

Он убыстряет шаг. И хоть он раз за разом теряет их в людской толпе, ко времени, когда женщины заходят в лавку, он почти уже их нагоняет. Перед тем как войти, высокая окидывает взглядом улицу. Его поражает синева ее глаз и бледность кожи. Взгляд женщины скользит по нему не задерживаясь.

Он пересекает улицу и неторопливо прохаживается туда-сюда, ожидая, когда женщины выйдут. Проходит пять минут, десять. Он начинает зябнуть.

Медная табличка сообщает, что здесь находится мастерская Madame la Fay не то la Fée, модистки. Он открывает дверь; звякает звонок. В

узкой светлой комнате сидят за двумя длинными швейными столами девушки в одинаковых серых платьях. Средних лет женщина спешит ему навстречу.

— Мсье?

— Несколько минут назад сюда вошла моя знакомая — молодая дама. Я подумал… — Он растерянно оглядывает мастерскую: ни чухонки, ни второй женщины здесь нет и в помине. — Прошу простить, я, верно, ошибся.

Две ближайшие к нему молоденькие белошвейки, видя его растерянность, прыскают. Что до Madame la Fay, она утрачивает к нему интерес.

— Это вы, должно быть, студенток ищете, — равнодушно роняет она. — Мы с ними не знаемся.

Он еще раз извиняется и направляется к выходу.

— Эй! — раздается за его спиной.

Он оборачивается. Одна из девушек указывает на дверцу слева от него:

— Вон туда!

Он попадает в узкий проход, отделенный стеною от улицы. Железная лесенка ведет во второй этаж. Поколебавшись, он поднимается по ней.

Темный, пропитанный кухонным запахом коридор. Откуда-то сверху долетают визгливые

звуки: кто-то неумело наигрывает на скрипке цыганский мотив. Двигаясь на звук, он еще двумя маршами лестницы поднимается к полуотворенной двери мансарды и стучит. Ему открывает чухонка. На флегматичном лице ее не выражается никакого удивления.

— Могу я поговорить с вами? — спрашивает он.

Чухонка отступает в сторону. На скрипке играет одетый в черное молодой человек. При виде постороннего он на середине фразы обрывает игру, бросает быстрый взгляд на рослую женщину, хватает шапку и, ни слова не сказав, выходит.

Он обращается к чухонке:

— Я заметил вас на улице и пошел следом. Мы можем переговорить с глазу на глаз?

Она усаживается на диван, но ему сесть не предлагает. Ноги ее едва достают до полу.

— Говорите.

— Вы сделали вчера одно замечание о смерти моего сына. Я желал бы знать больше. Не из какой-либо мстительности. Я для собственного облегчения спрашиваю. Для того чтобы снять груз со своей души.

Она насмешливо оглядывает его.

— Для собственного облегчения?

— Я хочу сказать, что приехал в Петербург не для того, чтобы изобличить кого-либо, — упрямо продолжает он, — но после сказанного вами об обстоятельствах смерти его я не могу оставить ваши слова без внимания, не могу от них отмахнуться.

Он умолкает. Голова кружится, он вдруг ощущает страшную слабость. Закрывая глаза, он видит приближающегося к нему Павла. Рядом с ним идет девушка, выбранная им в невесты. Еще миг, и Павел заговорит, представляя свою нареченную; еще миг, и он подумает: «Вот и славно, наконец-то годы отцовства закончились, наконец появились руки, в которые я могу его передать!» Еще миг, и он улыбнется Павлу радостной, облегченной улыбкой. Но кто мог стать его невестой? Не эта ли высокая (почти с Павла ростом) женщина с пронзительными синими глазами?

Сделав над собою усилие, он отгоняет видение. Он уже произносит, без какой-либо, как ему кажется, интонации, следующую фразу:

— У меня есть обязанности перед сыном, уклоняться от выполнения коих я не вправе.

Вот и все. Слова подошли к концу, иссякли. Повисает молчание, которое все длится и длит-

ся. Он пытается вернуть видение Павла и его нареченной, но вместо них появляется почему-то Иванов, во всяком случае, руки Иванова — бледные пухлые пальцы, высовывающиеся, точно черви, из зеленой шерсти митенок. Лицо же Иванова покачивается в каком-то сернистом тумане, не замирая на срок, довольный, чтобы его разглядеть. Выражение, впрочем, различается: хитрая, назойливая улыбка, как будто Иванов осведомлен о чем-то, способном ему повредить, и хочет, чтобы он знал об этой осведомленности.

Он встряхивает головой, пытаясь собраться с мыслями. Он стоит перед чухонкой, будто забывший реплику актер. Молчание тяжким грузом налегает на комнату. Грузом или покоем, думает он, какой настал бы покой, если б все вдруг остановилось, и птицы небесные замерли бы в полете, и гигантский шар застыл на орбите! Определенно близится припадок, сдержать который он ничем не способен. Он наслаждается последними мгновениями покоя. Какая жалость, что покой не может продлиться вовек! Откуда-то издали до него доносится крик, скорее всего его собственный. «И будет скрежет зубовный» — слова пролетают пред ним, затем все исчезает.

Возвращается он с чувством, что словно бы уез-

жал в далекую страну и состарился там и поседел. На деле же он, как и прежде, стоит посредине комнаты, все еще на ногах, лишь рука его почему-то приподнята. И женщины все еще здесь, даже позы их не переменились, разве что на лице чухонки появилось опасливое выражение.

— Позвольте мне присесть, — выдавливает он; язык его с трудом умещается во рту.

Чухонка освобождает ему место, он садится рядом с ней на диван, свешивает голову, которая вновь начинает кружиться.

— Вам не по себе? — спрашивает чухонка.

Он не отвечает. Что это хотел он сказать ей и почему его все время одолевает такая усталость? Мозг точно окутан туманом. Если бы он был персонажем книги, что мог бы сказать он в минуту, в которую до́лжно либо вылить всю душу, либо оставить страницу пустой?

— Если бы вы только знали, — медленно начинает он, — какую тоску испытываю я в вашем присутствии, насколько оно мне чуждо. Принять участие в играх, в которые вы играете, я не могу. То, что влечет вас, что увлекло, должно быть, и Павла, меня не влечет нисколько. По чести говоря, оно кажется мне отвратительным.

Так и не промолвив ни слова, высокая жен-

щина выходит из комнаты. Шелест ее платья, дуновение лаванды, когда она минует его, вызывают в нем внезапный трепет желания. Желания чего? Этой женщины? Определенно нет — или не только ее. Молодости, скорее, навеки утраченной свободы расшнурованных платьев, нагих тел. Пусть так, и все же это ответное движение тревожит его. Почему именно здесь, почему сейчас? Что-то связанное с усталостью, но, возможно, и с Павлом — с попытками отыскать себе место в мире Павла, в его эротическом окружении.

— Мне показали списки людей, намеченных вами для казни, — говорит он.

Чухонка пристально глядит на него.

— Списки эти теперь в полиции, надеюсь, вы это понимаете. Их взяли из комнаты Павла. Я же вот что хочу спросить: отведено ли всякому из вас просто некоторое число жертв, которых до́лжно убить, или каждому назначены люди совершенно определенные, только ваши и больше ничьи? И если верно последнее, ждут ли от вас, что вы станете заранее их изучать, вникать в их повседневную жизнь? Следите ли вы за ними прямо в домах их?

Чухонка пытается что-то сказать, но он уже ощущает прилив новых сил, и голос его крепнет,

заглушая ее слова.

– *Если так,* если это так, не получится ли, что вы по необходимости свыкнетесь с вашими жертвами в мере большей, нежели вам того хочется? Не станете ли вы как некий человек, скажем, нищий, которого зовут с улицы и дают ему копеек пятьдесят, чтобы он избавился от дряхлой, ослепшей собаки, и вот он берет веревку, вяжет петлю и гладит собаку, чтобы успокоить ее, бормочет ей какие-то слова и ощущает внезапно наплыв добрых чувств, отчего он и собака становятся друг дружке уже не чужими, а простая работа, которую ему предстоит совершить, обращается в самое черное предательство, такое, в сущности, предательство, что едва он натягивает веревку, в тот самый миг, как он натягивает ее, душа собаки обращается в призрак, который потом приходит к нему день за днем, удивленно скуля: «Почему именно ты это сделал?» Такая мысль, она не способна остановить вас?

Пока он говорит, возвращается рослая женщина. Она опускается в дальнем углу комнаты на колени, складывает простыни, сворачивает матрас. Чухонка же положительно ожила. Глаза ее блестят, ей явно не терпится что-то сказать. Но он не дает ей такой возможности.

— И если простая собака способна на это, какая сила сможет заставить мужчин и женщин, которых вам предстоит уничтожить, воздержаться от того, чтобы преследовать вас? Сдается мне, что, по какой бы научной методе ни отбирались вами эти враги народа, вы не сможете убивать их, не подвергая опасности собственные ваши души. Кто, например, был намечен в первые жертвы Павла? Кого ему предстояло убить?

— Зачем вы спрашиваете? Вам для чего?

— Для того, что я хочу пойти к дому этого человека и, став на колени перед дверью его, поблагодарить Бога за то, что Павел до нее не дошел.

— Вы, значит, радуетесь тому, что Павел убит?

— Павел не умер. Он мог умереть, но ему выпало великое счастье сохранить жизнь свою.

Рослая женщина наконец вмешивается в разговор.

— Вы не пересели бы сюда, Федор Михайлович? — говорит она, указывая на стол и два стула у окна.

— Это моя сестра, — поясняет чухонка.

— Хоть и от разных отцов, — говорит женщина.

Обе смеются, непринужденно, как давно зна-

комые люди.

Выговор у нее петербургский, голос глубокий. Вышколенный голос. Его охватывает чувство, что он уже встречал ее где-то. Певица? Времен его увлечения оперой? Да нет, чересчур молода.

Он садится на стул, она занимает другой, напротив. Стол узок. Ее ступня прикасается к его, он подбирает под себя ноги.

Хоть она и сидит спиною к окну, он понимает теперь, почему она так густо напудрена. Лицо ее усеяно оспинами. Какая жалость, думает он, пусть не красавица, но ведь и не вовсе лишенное красоты существо.

Нога ее вновь касается его ноги и задерживается, ступня к ступне.

Тревожное возбуждение пронизывает его. Как в шахматах, думает он: два игрока за маленьким столиком делают обдуманные ходы. Стало быть, это обдуманность возбуждает его — нога поднимается, будто пешка, и ставится рядом с его ногой? А третья из находящихся в комнате, наблюдательница, которая ничего не видит, простушка, глядящая не туда, куда следует, — она тоже разыгрывает свою партию? Обдуманность и безвкусица, безвкусица, которая по-своему щекочет нервы. От кого они смогли так много узнать о

нем, о его желаниях?

Певица, контральто, королева контральто.

— Вы знали моего сына, — говорит он.

— Он был нашим приверженцем. Маскотом.

Словечко ему знакомо и причиняет боль. Маскот — отрок, отирающийся средь студентов, мальчик на побегушках.

— Но он был вашим другом?

Она пожимает плечами.

— В дружбе есть нечто бабье. Мы не нуждаемся в дружбе.

«Бабье» — странноватое слово для женщины! Ему и сейчас уж кажется, что он знает больше, чем хочет знать. Ступня ее по-прежнему прижата к его, но теперь в нажатии ее ощущается нечто бездумное, вялое, даже угрожающее. Уже не ступня, а тяжелый башмак, живущий собственной жизнью. Павел не стал бы играть в подобные игры. Вновь возвращается видение Павла, идущего к нему. С ним рядом девушка, невеста, но облик ее неразличим. Павел улыбается, и нечто подобное торжеству читается в его улыбке. «Друг мой!» — думает он. Непомерная любовь тяжко сжимает ему сердце. И вот это, думает он, досталось мне взамен тебя!

— Если вы не нуждаетесь в дружбе, то да спасет

вас Бог, — шепчет он.

Он встает из-за стола, поворачивается к женщинам спиной. Хотелось бы знать, как он сейчас выглядит? Зеркала в комнате нет. Когда он опять садится, слезы, грозившие вскипеть в глазах его, уже усмирены.

— Что вы сделали с моим сыном? — сдавленно спрашивает он.

Женщина склоняется над столом, не сводя с него синего взгляда. Сквозь слой пудры пробиваются из ямок на подбородке пропущенные бритвой жесткие волоски. Да и сходящиеся над переносицей брови ее слишком густы. Женщине хватило бы разумения выщипать их. Стало, и чухонка — тоже отрок, толстый юнец-недоросток? Внезапно его пронизывает отвращение к ним обоим.

Она, или он, произносит какие-то слова. Это Нечаев — нечего и сомневаться. Личина, им принятая, становится вдруг слишком прозрачной. С внезапной отчетливостью возвращается давнее воспоминание: зала Конгресса мира, перерыв между заседаниями, Нечаев в полном одиночестве стоит в углу, с ненавистью озираясь по сторонам, набивая рот крошечными бутербродами, бросая безмолвный вызов всей заполненной

взрослой публикой зале: «Да, смейтесь, если смеете, смейтесь над гимназистом!» Выражение лица его точь-в-точь как у школьника, которого поставили на стул и у которого панталоны съехали вдруг до колен, — выражение уязвленное, но вызывающее. «Смейтесь, рано или поздно придет и на мою улицу праздник!»

Он вспоминает замечание, оброненное княжной Оболенской, любовницей Мрочковского: «Он, может быть, и *enfant terrible* анархизма, но, право же, ему следовало бы что-то сделать со своими прыщами!»

— При том, что учинила полиция с вашим сыном, — говорит Нечаев, — меня поражает, до чего вы спокойны. Ведь и в Писании сказано: око за око и зуб за зуб.

— Бессовестный вы человек, нет в Писании ничего подобного! Что вы пытаетесь внушить мне касательно Павла? И почему нарядились в этот нелепый костюм?

— Вы же не верите в басню о самоубийстве. Исаев не покончил с собой — это полицейская выдумка. Уничтожить нас законными средствами они возможности не имеют, вот и прибегают к подобным гнусным убийствам. Но вы-то должны же были усомниться, иначе зачем бы вы здесь

очутились?

Вся напускная деликатность отброшена, теперь Нечаев говорит настоящим своим голосом. Шелестя синим платьем, он прохаживается по комнате взад-вперед. Что у него под платьем, панталоны или голые ноги? Что ощущает мужчина, разгуливая на голых, пусть и прикрытых ногах, трущихся одна о другую?

— Думаете, нам всем не угрожает опасность? Думаете, мне *хочется* красться переодетым по моему собственному городу, городу, в котором я родился? А известно ли вам, что такое значит быть одинокой женщиной на улицах Петербурга? — Нечаев повышает голос, его душит гнев. — Известно ли вам, что ей приходится выслушивать? Мужчины тащатся следом, шепча гнусности, которых вы и представить себе не способны, и она против них бессильна! — Тут он овладевает собой. — Хотя, возможно, вы превосходнейшим образом их себе представляете. Возможно, то, что я описываю, вам слишком знакомо.

Чухонка ставит на колени миску с картофелинами и принимается чистить их. Лицо ее спокойно, ни дать ни взять — маленькая бабушка.

— Вроде похолодало, — сообщает она в пространство.

«Безумцы, оба!» — думает он. Но я-то, что я здесь делаю? Мне нужно отыскать путь, которым я смогу возвратиться к Павлу.

— Соблаговолите повторить… Соблаговолите повторить сказанное вами о моем сыне, — говорит он.

— Хорошо, я расскажу вам о вашем сыне. Официально утверждается, что он покончил с собой. Если вы верите в это, значит, вы поистине легковерны, легковерны преступно. Вы ведь, если не ошибаюсь, сами были когда-то революционером? Должны же вы понимать, что борьба никогда не прекращалась. Или вы заключили с ними сепаратный мир? Однако тех, кто стоит на переднем фронте борьбы, по-прежнему гонят, пытают и убивают. Я-то ждал, что вы поймете это и об этом напишете. Тем паче что в нашей постыдной российской печати прочитать правду о вашем сыне и подобных ему людях все равно никогда не удастся.

Голос Нечаева становится более низким, более напряженным.

— То, что произошло с вашим сыном, может в один прекрасный день произойти и со мной, да с

любым из наших товарищей. Вы говорите, будто вам об этом ничего не известно. Так пойдите на улицы, на рынки, в кабаки, где собирается простой народ, и вы узнаете то, что известно ему. Народу вот откуда-то все известно! И когда придет Судный день, народ не забудет ни о тех, кто страдал и умирал за него, ни о тех, кто не шевельнул ради него даже пальцем.

Христос во гневе его, думает он: вот кого он взял себе в образцы. Ветхозаветный Христос, тот, что изгнал торгующих из храма. Даже костюм выбран точно — не обычное платье, но одеяние, покров. Подражатель, притворщик, святотатец.

— Не угрожайте мне! — откликается он. — Как получили вы право говорить от имени народа? Народ не мстителен. Народ не тратит времени на заговоры и интриги.

— Народ знает своих врагов и не прольет по ним ни слезинки, когда им придет конец! Что до нас, мы по крайности понимаем, что делать, и делаем! Возможно, и вы понимали когда-то, но теперь вы только и можете, что мямлить, качать головой и плакать. Вы одрябли. А мы не дряблы, мы не плачем, не растрачиваем время на умные разговоры. Есть вещи, о которых можно поболтать, а есть другие, о которых болтать нечего, их

делать надо, только и всего. Мы не болтаем, не плачем, не размышляем на бесконечную тему «с одной стороны, но с другой стороны», мы просто-напросто *делаем!*

— Превосходно! Вы просто-напросто *делаете.* Кто, однако, указывает вам, что следует делать? Чьему голосу подчиняетесь вы, народному или же собственному, но только немного измененному, чтобы вам его как-нибудь случаем не узнать?

— Очередной умный вопрос! Очередная трата времени! Нас тошнит, мы устали от умничанья. Умничанье принадлежит к разряду вещей, от которых нам придется избавиться. Близится время простых людей. Простой человек не умничает. У него есть работа, и он ее делает. А по завершении работы именно простой человек и решит, что и как будет дальше и следует ли допускать дальнейшее умничанье!

— И следует ли допускать умные книжки и все остальное! — подхватывает оживившаяся, похоже, даже пришедшая в раж чухонка.

Возможно ли, думает он с отвращением, чтобы Павел был дружен с такими людьми, с людьми, всегда готовыми раздражить себя до неистовой уверенности в собственной правоте? Не схоже ли это место с испанским монастырем времен

Лойолы: высокородные девицы бичуют себя, часами молясь о том, чтобы Спаситель принял их в лоно Свое? Крайние люди, сладострастники, жаждущие исступления смерти, не важно, как себя проявляющей — в убийстве ли или в собственной их кончине. И Павел был среди них!

Его снова придавливает мысль о последнем мгновении Павла, о полном горячей крови, полном жизни юном теле, ударяющем оземь, о воздухе, рвущемся из легких, о хрусте костей и об изумлении, прежде всего об изумлении перед тем, что конец реален, что второго шанса дано ему не будет. В страдании он заламывает укрытые под столом руки. Тело, ударяющее оземь: смерть, мера всех вещей.

— Докажите мне… — говорит он. — Представьте мне доказательства того, что вы сказали о Павле.

Нечаев склоняется к нему.

— Я отведу вас на место, — произносит он, медленно выговаривая каждое слово. — Я отведу вас на то самое место и открою вам глаза.

Он молча встает, спотыкаясь, добирается до двери. Находит лестницу, спускается по ней и тут понимает, что забыл дорогу на улицу. Стучит наудачу в дверь. Ответа нет. Стучит в другую. Усталого вида женщина в шлепанцах отворяет

ее и отступает, чтобы его впустить.

— Нет-нет, — говорит он, — я лишь хочу узнать, как выйти отсюда.

Не проронив ни слова, она закрывает дверь.

С другого конца коридора доносится гул голосов. Дверь стоит настежь; он входит в комнату с низким потолком, похожую чем-то на птичью клетку. Трое молодых людей развалились в креслах, один читает вслух из газеты. Наступает молчание.

— Я ищу выход, — говорит он.

— Tout droit![3] — махнув рукой, отзывается чтец и возвращается к газете. Он читает отчет о стычке студентов с жандармами у стен философского факультета. Оторвав взгляд от листа, он видит, что незваный гость так и не стронулся с места. — Tout droit, tout droit! — рявкает он, товарищи его хохочут.

Тут рядом с ним возникает чухонка.

— Господи, куда вас только не заносит! — добродушно замечает она.

Взяв за руку, она проводит его, как слепца, по еще одной лестнице, по темному коридору, забитому ларями и сундуками, к запертой на засов

---

[3] Примечания: 3
Все время направо! (*фр.*).

двери, которую она отпирает. Вдвоем они выходят на улицу. Чухонка протягивает ему ладонь.

— Значит, у нас с вами нынче свидание, — говорит она.

— Нет. Какое свидание?

— Ждите вечером, в десять, на углу Гороховой и Фонтанки.

— Не приду, можете быть уверены.

— Ну, не придете, и ладно. А то вдруг да и придете. Есть же у вас родственные чувства. Вы нас не предадите, нет?

Вопрос она задает шутливо, точно он, в сущности, и не властен причинить им какой-либо вред.

— А то, знаете, кое-кто из наших поговаривает, что вы непременно нас предадите, — продолжает она. — Утверждают, будто вы по природе своей предатель. А вы как считаете?

Будь в руке его палка, он бы ударил ее. Но понять, куда можно побольнее ткнуть голой рукой это тупо-округлое тело, трудновато.

— Хотя, если даже человек разобрался в своей природе, какой ему от этого прок? — задумчиво продолжает она. — Я к тому говорю, что природа все равно его за собой потянет, сколько бы он над ней ни размышлял. Что толку вешать человека

за то, к чему его подтолкнула природа? Все равно как вешать волка за то, что он овцу съел. Природы-то волчьей этим не исправишь, правильно? Или вот повесили того, кто предал Иисуса, — ну и что изменилось, ведь ничего?

— Никто его не вешал, — выпаливает он в раздражении. — Сам повесился.

— Какая разница? Все равно же не помогло, не так ли? Я хочу сказать, независимо от того, повесили его или сам он повесился.

Нечто жутковатое начинает проступать в ее болтовне.

— И кто же Иисус? — негромко спрашивает он.

— Иисус? — Уже сумерки, никого, кроме них, нет на холодной, пустынной задней улочке. Чухонка недоуменно глядит на него. — Разве вы не знаете, кто такой Иисус?

— Если вы меня называете Иудой, кто тогда Иисус?

Она улыбается.

— Ну, это так, к слову пришлось, — говорит она. И затем, обращаясь более к себе, чем к нему: — Ну решительно же ничего не понимают.

Она еще раз протягивает руку.

— В десять на Фонтанке. Если никто к вам не подойдет, значит, что-то произошло.

Не приняв руки, он уходит по улице. Сзади до него долетает произнесенное полушепотом слово. Какое? «Жид»? «Иуда»? Скорее всего, «жид». Замечательно: так они полагают, будто одно слово произошло от другого? Но почему он побрезговал прикосновением к ней? Потому, что она могла знать Павла, знать слишком хорошо — быть может, и плотски? Считаются ли у них женщины общей собственностью, у Нечаева и прочих? Трудненько вообразить эту женщину в общем владении. Скорее уж она обладает всеми мужчинами сообща. Обладала и Павлом. Он противится этой мысли, затем уступает. Он видит чухонку голой, восседающей на багряных подушках, раздвинувшей громоздкие ноги, разведшей в стороны руки, выставив напоказ груди, круглый живот, безволосое, голое зрелое лоно. И коленопреклоненного Павла, ждущего, когда его покроют и пожрут.

Он трясет головой, прогоняя видение. Завидное воображение! Потом на место любви прокрадывается, точно поседелая крыса, отец — посмотреть, не осталось ли чего и ему. Сидя во мраке на трупе, он вгрызается в него, настораживает, прислушиваясь, уши, грызет, прислушивается, грызет. Вот, стало быть, почему полицейская свора во

главе с Максимовым, достойным отцом, самой крупной из крыс, столь мстительно преследует вольнолюбивую петербургскую молодежь?

Он вспоминает, как вел себя Павел после его женитьбы на Ане. Павлу было уже девятнадцать, но он никак не мог примириться с тем, что она, Анна Григорьевна, станет отныне спать в одной постели с отцом. Весь год, что они прожили вместе, Павел старательно делал вид, будто она всего лишь компаньонка отца, вот как бывают старухи компаньонки, нанимаемые, чтобы вести хозяйство, заказывать в бакалейной продукты, следить за мойкой белья. Когда — скажем, после вечерней игры в карты — он объявлял, что идет спать, Павел не отпускал с ним Аню, предлагая ей еще разок перекинуться в дурачка («Один на один!»), и даже когда она, краснея, порывалась уйти, все равно не желал понимать зачем («Мы же не в деревне живем, коров вам с утра не доить!»).

Всегда ль оно так между детьми и отцами: шуточки, прикрывающие неистовое соперничество? И не оттого ли он столь угнетен утратой: почва жизни его, борьба с сыном, ушла из-под ног, и дни его стали пусты? Не «народная расправа» — «сыновняя»: вот что лежит в основе всех революций — зависть отцов к женщинам их

сыновей, помыслы сыновей о том, как бы отнять у отцов их денежную мошну. Он снова устало трясет головой.

10
Дроболитная башня

Вернувшись домой, он сталкивается в коридоре с донельзя возбужденной Матреной.

— А к нам полиция приходила, Федор Михайлович, искала убийцу!

Время останавливается; он застывает на месте.

— Почему убийцу искали здесь? — Слова эти произносятся им, но слышатся будто бы издали, немощные слова, выговариваемые кем-то другим.

— Да они повсюду искали, по всему дому!

От Анны Сергеевны он получает отчет более полный.

— Полиция спрашивала о нищем, который слонялся тут по соседству. Я его, по-моему, видела, но в точности не помню. Говорят, он устраивался на ночь в нашем доме.

Он мог бы сейчас открыть ей, что Иванов провел ночь в ее квартире, но предпочитает не делать этого.

— В чем его обвиняют? — спрашивает он взамен.

— На этот счет полиция особо не распространялась. Матреша уверяет, будто он кого-то убил, но это одни только слухи.

— Невозможно. Я с ним знаком, мы разговаривали, и довольно долго. Он не убийца.

Выясняется, впрочем, что доля правды в слухах присутствует. Преступление действительно совершено, тело жертвы — именно самого этого нищего — обнаружено неподалеку в одном из проулков. Известие это, полученное от дворника, ошеломляет его. Иванову, одной из тех грошовых фигур, что вечно толкутся у чьего-нибудь смертного одра или у свежей могилы, умирать прежде прочих совсем не по чину.

— Уверены ли они, что он попросту не замерз? — спрашивает он. — Отчего непременно убит?

— Убит, как есть убит, сударь, — с выражением человека осведомленного отвечает старик. — Дивно разве, чего они такой шум подняли из-за пустого-то человека.

За ужином Матрена только и говорит что об убийстве. Она чрезвычайно взволнованна: глаза блестят, слова перескакивают одно через другое. Ему тоже есть что порассказать, но это подождет, пусть сначала мать угомонит девочку и уложит

ее спать.

Когда у него возникает наконец уверенность, что девочка заснула, он принимается рассказывать Анне Сергеевне о своей встрече с Нечаевым. Говорит он, лишь немного понизив голос, поскольку сознает, что шепот взрослых — пленяющий своею таинственностью и уж тем одним ненадежный — способен нарушить и самый глубокий сон ребенка.

Фамилия Нечаев Анне Сергеевне знакома, но представление о том, кто он, у нее самое смутное. Тем не менее она охотно подает ему совет, и совет решительный:

— Вам необходимо пойти на это свидание. Вы места себе не найдете, пока не узнаете, что случилось на самом деле.

— Но я знаю, что случилось. А большего мне знать и не нужно.

Она нетерпеливо взмахивает рукой. Такое отсутствие энтузиазма представляется ей бессмысленным, она видит в нем одну апатичность. Как бы ей объяснить? Чтобы она сумела понять, он должен заговорить с нею голосом из-под вод, ясным, как звон колокольчика, голосом мальчика, молящим из глубокой тьмы. «Папочка, спой мне!» — мог бы позвать этот голос, и она бы его

услышала. Где-то внутри себя самого он смог бы отыскать не один только голос, но и слова, настоящие слова. Сейчас же слов ему не хватает. Возможно — есть у него такое ощущение, — они поджидают его в одной из старинных песен. Но не из тех, что напечатаны в книгах: эта песня сокрыта в душе народа русского, и как до нее доберешься? Или в душе ребенка.

— Павел был человек не мстительный, — произносит он наконец, запинаясь. — Кто бы его ни убил, это дело прошлое, Павел никак с ним больше не связан, он избавился от этого человека. Я хочу научиться у него этому. И не хочу отравлять свою душу мстительностью.

Ему и еще есть что сказать, но не сейчас, сейчас он не может. Сказать, что Павлу неинтересен разговор о его падении. Что Павел прежде всего одинок и нуждается в утешении, в колыбельных песнях, в уверениях, что его не бросят на дне глубоких вод.

Оба замолкают. Впервые с прошлого воскресенья они остались наедине. Анна Сергеевна кажется усталой. Плечи обмякли, руки вяло лежат на столе, на шее обозначились складки. Старше его жены, снова думает он, — не то чтобы человек другого поколения, но близко к

тому. Он сожалеет, что видит ее такой. Слишком недавно возвратился он от Нечаева, молодого, демонически энергичного, как и все мелкие бесы молодости.

Повинуясь порыву, он берет ее за руку. Анна Сергеевна поднимает на него удивленный взгляд.

— Я не к мщению вас призываю, — медленно говорит она. — Разумеется, вы верно сказали о Павле, он не был мстителен по натуре. Но в нем жило чувство правильного и справедливого. Пойдите на это свидание. Узнайте все, что сможете. Иначе вам никогда не будет покоя.

Он продолжает сжимать ее руку. И ощущает ответное пожатие, которое может назвать только участливым.

— Справедливость, — задумчиво произносит он. — Великое слово. Но кто может сказать, где, в сущности, проходит черта между справедливостью и расправой? — И, увидев, что она не вполне его понимает: — Не оригинально ли это в Нечаеве — то, что он назвал свое дело «Народной расправой», а не «Народной справедливостью»? По крайней мере честно.

— Честно? Разве люди это хотят услышать: что им нужна расправа, а не справедливость?

Не думаю. Почему его вообще принимают всерьез, Нечаева? Почему кто-то должен принимать всерьез студента, раздраженного молодого человека? Какой, в конце-то концов, силой он обладает?

— Определенно не силой жизни, но силой смерти. Ребенок ведь, если в него войдет этот дух, может убить так же легко, как взрослый. Возможно, оригинальность Нечаева состоит и в этом тоже: он вслух говорит о наших детях то, чего мы и помыслить-то не решаемся, наделяет голосом нечто жестокое и тупое, пропитавшее собою молодую Россию. Мы затыкаем уши, и тут он является с топором и заставляет нас слушать.

Рука ее, такая живая в его руке, вдруг словно бы обмирает. Чувствительность истинно женская, думает он, отнимая руку. Как и у дочери ее. И ранимость, верно, не меньшая.

Ему хочется обнять Анну Сергеевну, взять ее в руки и поправить все, что в ней было изломано. Пора прекратить этот разговор, думает он, лишь отталкивающий, отчуждающий ее. Но это ему не по силам.

— В конце концов, невозможно же вербовать приверженцев, взывая к духу, им чуждому или вовсе безразличному. Нечаев находит по-

следователей среди молодежи оттого, что дух, вселившийся в нее, перекликается с духом, обуявшим его. Разумеется, сам он приводит иные объяснения. Он называет себя материалистом. Истина же в том, что он вмещает в себе нечто, называвшееся греками «демоном». Это демон наставляет его. И в демоне он черпает силу.

И снова он думает: пора остановиться. Но сухие, мертвые слова продолжают истекать из него. Он понимает, что обрывает связующие их нити.

— Тот же демон мог присутствовать и в Павле, иначе с чего бы Павел отозвался на его призыв? Приятно думать, что Павел не был мстительным человеком. Приятно хорошо думать о покойных. Однако это означает лишь, что мы пытаемся им польстить. К чему сентиментальничать? В обыденной жизни Павел был не менее мстителен, чем любой молодой человек.

Анна Сергеевна встает. Он уверен, что знает слова, которые она собирается произнести, и готов, хотя бы приличия ради, начать оправдываться перед ней. «Вы зовете себя отцом Павла, но я не верю, что вы его любите» — вот чего он ожидает. Он ошибается.

— Я ничего не знаю об анархисте Нечаеве, я могу только принять на веру ваши слова о нем, —

говорит она. — Однако, слушая вас, я затрудняюсь сказать, кому именно, вам или Нечаеву, сильнее хочется, чтобы Павел принадлежал к партии расправы. Я Павлу никто, я, уж конечно, не мать его, и все же я обязана ему — ему и памяти о нем, — обязана протестом. Сражайтесь, коли вам угодно, с Нечаевым, но Павла-то в ваши распри не втягивайте.

— Нечаев не анархист. Это ошибка, которую люди делают на его счет. Он нечто совсем иное.

— Анархист, нигилист, кто угодно, я не желаю больше слышать о нем! Я не хочу, чтобы в мой дом притаскивали ненависть и раздоры! Матрена и без того достаточно растревожена, и я не хочу, чтобы она подхватила еще и эту заразу.

— Не анархист и не нигилист, — упрямо продолжает он. — Нацепляя на него ярлыки, вы упускаете из виду то, чем он отличен от всех остальных. Он действует не во имя идей. Он действует, когда в теле его пробуждается потребность действия. Он сладострастник. Человек крайних страстей. Тело его стремится жить у черты чувственных ощущений, у черты телесного знания. Вот отчего он говорит, что «все позволено», — или мог бы это сказать, если бы не был столь равнодушен к любым попыткам выразить себя.

Он делает паузу. Ему опять представляется, будто он знает, что хочет сказать Анна Сергеевна, знает, хотя она и не говорит ничего: «А вы сами? Многим ли вы от него отличаетесь?»

— Думаете, почему Нечаев выбрал топор? — продолжает он. — Если вдуматься в то, что такое топор, в то, что этот топор означает…

Он в отчаянии всплескивает руками. Порядочные слова нынче ему не даются. Топор — орудие народной расправы, народное оружие, грубое, тяжкое, неотразимое, в замáх которого вложена вся сила его носителя, тяжесть телесная и тяжесть пожизненной ненависти, негодования, отложившаяся в теле, тяжесть и темная радость замаха.

Оба вновь погружаются в молчание.

— Существуют люди, — произносит он наконец тоном более ровным, — неспособные получать ощущения естественным путем. Этим и поразил меня Сергей Нечаев еще в самом начале — как человек, неспособный, к примеру, вступить в естественную связь с женщиной. Хотелось бы знать, не в этом ли и коренится его обида на все и вся. Впрочем, возможно, в будущем оно так и станется: человек уже не сможет получать ощущения прежними средствами. Прежние средства себя изживут. Я говорю о любви. Любовь изживет

себя. Придется отыскивать средства иные.

Анна Сергеевна говорит:

— Довольно. Я больше не хочу разговоров. Уже десятый час. Если вы решились идти…

Он встает, кланяется, уходит.

В десять он стоит у Фонтанки, на назначенном месте. В вышине ветер гонит перед собой разодранные дождевые тучи, струи хлещут по черной речной воде. Фонарные столбы нестройно покрякивают вдоль пустой каменной набережной. Слышно, как бурлит на крышах и в водостоках вода.

Впадая во все более брюзгливое состояние, он укрывается в одном из подъездов. Недостает еще простуду подхватить, думает он, это уж будет последняя капля. Он легко простужается. И Павел простужался легко, с самого детства. Интересно, болел ли Павел, пока жил у *нее?* Сама ли она ходила за ним или предоставляла заниматься этим Матрене? Он воображает Матрену, входящую в комнату, неся стакан горячего чая с лимоном; парок над стаканом, Матрена ступает осторожно, стараясь не расплескать чай; воображает Павла, его темные волосы на белой подушке, улыбку. «Спасибо, сестричка», — говорит Павел хрипловатым юношеским голосом. Жизнь юноши во

всей ее обыденности! Подслушать его некому, и он, опуская голову, мычит, точно больной бык.

Тут-то она и возникает перед ним, с любопытством его оглядывая, — не Матрена, чухонка.

— Вам нездоровится, Федор Михайлович?

Охваченный смущением, он отрицательно качает головой.

— Тогда идемте, — говорит она.

Она ведет его, чего он и опасался, вдоль реки на запад, к старой дроболитной башне на Столярной набережной. Повышая голос, чтобы пересилить ветер, она болтает с ним совершенно по-дружески.

— Знаете, Федор Михайлович, — говорит она, — это вам мало чести делает, так говорить о людях, как вы нынче днем говорили. Вы нас разочаровали — вы, с вашим-то прошлым. Вы же как-никак в Сибирь пошли за убеждения. Мы вас уважаем за это. Даже Павел Александрович уважал. Вам отступаться стыдно.

— Даже Павел?

— Да, даже Павел. Вы в свое время пострадали, а теперь Павел принес себя в жертву. Вы имеете полное право высоко держать голову и гордиться им.

Ей не составляет никакого труда тараторить,

быстро перебирая при этом ногами. У него же колет в боку и сбивается дыхание.

— Помедленнее, — пыхтит он. — А вы? — наконец спрашивает он. — Вы-то что?

— Что я?

— Как насчет вас? Вы сможете в будущем высоко держать голову?

Чухонка останавливается прямо под безумно болтающимся фонарем. Свет и тень мечутся по ее лицу. Совершенно напрасно он зачислил ее по разряду детей, играющих в переодевания. При всей ее бесформенности он теперь различает в ней холодную женственность.

— Я не предполагаю задерживаться здесь надолго, Федор Михайлович, — говорит она. — Как и Сергей Геннадиевич. И все остальные из наших. То, что случилось с Павлом, может в любую минуту случиться с каждым из нас. Так что не надо шутить. А если вы подшучиваете над нами, так помните хоть, что вы и над Павлом подшучиваете.

Второй раз за день он испытывает желание ударить ее. И видно, что она чувствует его гнев: она даже выпячивает подбородок, как бы подталкивая его — давай ударь. Почему он стал так вспыльчив? Что на него нашло? Не обратился

ли он в одного из тех стариков, что не способны совладать со своим норовом? А то и хуже: теперь, когда наследник его погиб, не стал ли он не стариком только, но и призраком, раздраженным, несдержанным мороком?

Башня на Столярной стоит еще со времен строительства Петербурга, но ею уж много лет как не пользуются. Несмотря на сделанную краской надпись, запрещающую входить в нее, она давно обратилась в пристанище самых отчаянных окрестных мальчишек, которые по спирально вделанным в стены железным скобам добираются до расположенного саженях в пятнадцати над землею горнила, а то и выше, на самую верхушку кирпичной трубы.

Огромная, утыканная гвоздями дверь заложена засовом и заперта, но маленькую боковую давным-давно вышибли какие-то шалопаи. В темном ее проеме стоит, ожидая, мужчина. Негромко поздоровавшись с чухонкой, мужчина этот входит вовнутрь.

Внутри стоит запах испражнений и заплесневелого камня. Кто-то негромко сквернословит в темноте. Мужчина чиркает спичкой, зажигает фонарь. Чуть ли не под ногами их, прижимаясь друг к другу, лежат на мешках трое. Он отводит

взгляд.

Человек с фонарем — это Нечаев, теперь на нем длинный черный гренадерский плащ. Лицо отливает ненатуральной бледностью. Пудру он, что ли, забыл смыть?

— У меня от высоты кружится голова, — говорит чухонка. — Я вас тут подожду. Сергей Геннадиевич все вам покажет.

Спиральная лестничка вьется по внутренней стене башни. Подняв фонарь повыше, Нечаев начинает взбираться по ней. Шаги его гулко отдаются в замкнутом пространстве.

— Вот здесь они и вели вашего пасынка, — говорит Нечаев. — Сначала, скорее всего, напоили, чтобы с ним легче было управиться.

Павел. Здесь.

Подъем все длится и длится. Башню, уходящую вниз, как колодец, заглатывает темнота. Он отсчитывает вспять дни, прошедшие со смерти Павла, дойдя до двадцати, сбивается, начинает сначала и сбивается снова. Неужели Павел поднимался по этой лестнице *так много дней тому назад?* Почему он не может их счесть? Ступеньки, дни — они как-то связаны. С каждой ступенькой из жизни Павла вычитался еще один день. Прибавление и убывание происходили одновре-

менно — может быть, это ему мешает?

Лестница кончается, они выходят на плоскую железную крышу. Провожатый его широко поводит фонарем.

— Туда, — говорит он.

Мелькают очертания каких-то ржавых механизмов.

Они оказываются высоко над набережной, на выступающей из башни платформе с перилами вышиною по пояс. С одного ее боку в стену вделаны барабан и цепная лебедка.

Ветер набрасывается на них. Он снимает шляпу и вцепляется в поручень, стараясь не глядеть вниз. Метафора, говорит он себе, не более того, — просто еще одно слово для обозначения потери сознания, отсутствия, небытия, верней, бытия нездешнего. Ничего нового. Эпилептикам это очень даже знакомо — приближение к самому краю, заглядывание вниз, душа кренится, одна и та же мысль безумно, точно колокольный звон, колотится в голове: «Время придет к концу, и смерти больше не будет».

Он сжимает поручень крепче, встряхивает головой, отгоняя головокружение. Метафора — экий вздор! Есть только смерть, ничего больше. Смерть есть метафора небытия. Смерть есть

смерть. Не следовало мне сюда приходить. Теперь до скончания дней эта картина будет призрачным видением стоять перед моими глазами: мерцающие под дождем кровли Санкт-Петербурга, вереница крошечных фонарей вдоль кромки воды.

Не разжимая стиснутых зубов, он повторяет про себя: «Не следовало приходить». Но все эти «не», так уже было с Ивановым, отказывают одно за другим. «Не следовало приходить, а потому следовало прийти. Ничего другого я не увижу, а потому увижу все». Какая-то болезнь — недомогание логики, быть может?

Фонарь его провожатый оставил внутри. Он остро чувствует близость молодого тела Нечаева, несомненно сильного, жилистого, неутомимого. В любой миг он может схватить его за поясницу и швырнуть через поручни в пустоту. Но кто на этой платформе *он* и кого *его?*

Он медленно поворачивается лицом к молодому человеку.

— Если Павла действительно привели сюда, чтобы убить, — говорит он, — я прощу вам то, что вы привели сюда и меня. Но если это чудовищная хитрость, если именно вы столкнули его отсюда, тогда, предупреждаю вас, прощения

вам не будет.

Между ними от силы семь вершков. Луна прячется, струи дождя хлещут по ним, но Нечаев не отступает от него ни на шаг, он в этом уверен. По всем вероятиям, противник его уже проиграл для себя эту партию от начала и до конца, со всеми ее вариантами: что ему ни скажи, удивить его не удастся. Если он только не бес, которому любые проклятия что гусю вода.

Говорит Нечаев:

— Вам следует стыдиться ваших слов. Павел Исаев был нашим товарищем. Мы стали ему семьей, когда другой у него не осталось. Вы укатили за границу, бросив его здесь. Вы утратили связь с ним, стали для него чужим человеком. А теперь являетесь неизвестно откуда и возводите дикие обвинения на единственных, какие у него были на свете, по-настоящему близких ему людей. — Нечаев потуже стягивает на горле плащ. — Знаете, кого вы мне напоминаете? Дальнего родственника, пришедшего с саквояжем на похороны, свалившегося с неба, чтобы предъявить права на наследство человека, которого он и в глаза никогда не видел. Вы не отец Павлу Александровичу, даже не отчим, вы его пятиюродный, если не шестиюродный брат.

Удар чувствительный. Он пытается протолкнуться мимо Нечаева в дверь, но противник его плотно перекрывает проход.

— Не затыкайте уши, Федор Михайлович, слушайте, что я говорю! Вы Исаева потеряли, а мы спасли. Как вам только в голову пришло, что мы могли убить его?

— Поклянитесь вашей бессмертной душой!

Еще не докончив фразы, он слышит в ней некий мелодраматический отзвук. Собственно, и вся эта сцена: двое мужчин на залитой лунным светом, повисшей над городом платформе сражаются со стихиями, перекрикивают ветер, бросая обвинения друг другу, — вся эта сцена фальшива и мелодраматична. Но где взять подлинные слова, услышав которые Павел улыбнется своей неторопливой улыбкой и одобрительно покивает?

— Я не клянусь тем, во что не верю, — холодно произносит Нечаев. — Довольно и здравого смысла, чтобы понять — я говорю правду.

— А с Ивановым как? Или здравый смысл должен уверить меня и в том, что в смерти Иванова вы также неповинны?

— Какого еще Иванова?

— Так называл себя несчастный, которому велено было следить за домом, где я живу. Где жил

Павел. Куда заходила ваша подруга.

— А, полицейский шпион! Тот, с которым вы так подружились! С ним-то что еще стряслось?

— Найден мертвым, вчера.

— Да? Что ж, мы одного потеряли, и они одного потеряли.

— Одного потеряли? Вы равняете Павла с Ивановым? Так вы сводите ваши счеты?

Нечаев качает головой.

— Не примешивайте сюда личного, это только запутывает дело. У полицейских агентов немало врагов. Народ их ненавидит. Смерть вашего Иванова нимало меня не удивляет.

— Я не был Иванову другом и занятий его не одобрял. Но это еще не основание для убийства! Что до «народа», так это попросту вздор! Не народ же сделал это! Народ не замышляет убийств. И следов за собою не заметает.

— Народ знает, кто его враги, и не льет слез, когда враги эти гибнут!

— Иванов не был народу врагом, он был человеком без копейки в кармане, вынужденным кормить семью, как десятки тысяч других людей. Если он не из народа, то кто же тогда?

— Вы отличнейше сознаете, что душою он к народу не принадлежал. Называть его человеком из

народа — значит вести пустой разговор. Народ состоит из крестьян и чернорабочего люда. Иванов не имел с народом связей, он и завербован-то был не из народа. Это был человек, лишенный всяких корней, да еще и пьяница к тому же, — легкая добыча, такого ничего не стоило обратить против народа. Удивляюсь, как это вы, умный человек, попались на такой простенький обман.

— Умный или не умный, а ваших чудовищных доводов я не принимаю! Зачем вы привели меня сюда? Вы говорили, что собираетесь предъявить мне доказательства того, что Павла убили. Где они? Прийти сюда еще не значит получить доказательства.

— Разумеется. Но перед вами место, на котором совершено убийство, а правильнее сказать, санкционированная государством казнь. Я привел вас сюда, чтобы вы сами его осмотрели. Теперь у вас есть возможность увидеть все своими глазами, и если вы по-прежнему отказываетесь мне верить, что ж, тем хуже для вас.

Он хватается за перила и смотрит *туда,* в стремительно падающую тьму. Между *здесь* и *там* пролегает вечность, бездна времени, которую разум охватить не способен. Между здесь и *там* Павел был еще жив, живее даже, нежели прежде.

Всего напряженнее живем мы в минуты падения — вот истина, которая рвет его сердце!

— Не верите, так не верьте, — повторяет Нечаев.

«Верить» — еще одно слово. Что означает «верить»? Я верю в тело на мостовой внизу. Верю в кровь и в кости. Поднять с земли разбитое тело, обнять его, вот что такое «верить». Верить и любить — это одно и то же.

— Я верую в воскрешение, — говорит он.

Слова приходят сами собой. Безумие, напыщенность ушли из его голоса. Выговаривая эти слова, вслушиваясь в них, он ощущает проблеск радости, вызванной не самими словами, но тем, как они возникают, — их словно бы произносит другой человек. «Павел!» — думает он.

— Что? — Нечаев придвигается ближе.

— Я верую в воскрешение тела и в жизнь вечную.

— Я не об этом вас спрашивал.

Ветер налетает с такой силой, что Нечаев вынужден кричать. Плащ хлопает, обвивая его, он крепче вцепляется в поручень, чтобы устоять на ногах.

— И все же я говорю вам именно это!

Хотя домой он приходит уже после полуночи,

Анна Сергеевна ждет его. Удивленный ее заботой, благодарный, он рассказывает ей о встрече на набережной, о том, что говорил на башне Нечаев. Затем просит рассказать еще раз о ночи, в которую умер Павел. Совершенно ль она уверена, например, что Павел погиб на набережной?

— Так мне сказали, — отвечает она. — Причин же не верить сказанному я не имела. Павел вышел под вечер, не сказавшись куда. На следующее утро меня известили, что он мертв и что мне необходимо прийти в больницу.

— А как они узнали, что известить следует именно вас?

— У него были в карманах какие-то документы.

— И?

— Я пошла в больницу, опознала его. Потом сообщила господину Майкову.

— Но какие объяснения они вам дали?

— Да никаких они мне объяснений не дали, это мне пришлось давать объяснения. Пришлось идти в полицию, отвечать на вопросы: кто он, где его семья, когда я его в последний раз видела, как долго он прожил у нас, с кем дружил — и так без конца! Мне сказали только, что, когда его обнаружили, он был уже мертв и что произошло

это на Столярной набережной. Вот это все я и передала господину Майкову. А уж что он вам потом сообщил, я не знаю.

— Он прибегнул к выражению «несчастные обстоятельства». Несомненно, он уже переговорил к тому времени с полицией. «Несчастные обстоятельства» — так они обозначают самоубийство. Он известил меня телеграммой, так что возможности особенно распространяться о подробностях у него не было.

— Вот и я так это поняла. О случившемся то есть. Почему он это сделал, если это сделал он, я и посейчас понять не могу. Никакого предупреждения, ни одного намека на то, чему предстояло произойти.

— Еще один вопрос, последний. Каков был той ночью его костюм? Вы ничего в нем странного не приметили?

— Когда он уходил?

— Нет, когда вы увидели его… после.

— Не знаю. Не могу вспомнить. Его покрывала простыня. Не хочется мне об этом рассказывать. Но лицо его было совершенно спокойно. Я хочу, чтобы вы это знали.

Он от всего сердца благодарит ее. Тем разговор и заканчивается. Он уходит к себе, но уснуть не

может. Вспоминает запоздавшую телеграмму Майкова (почему она шла столько времени?). Случилось так, что вскрыла ее Аня. Ане пришлось пойти в его кабинет и произнести слова, которые и этой ночью отдаются в его голове тупыми ударами колоколов, звонящих каждый во весь свой вес и силу: «Федя, Павел умер».

Он взял телеграмму, сам прочитал ее, тупо глядя в желтый листок, стараясь извлечь из французского слова какой-то иной, отличный смысл. Умер. Навсегда перешел из мира света в темницу прошлого. Без возврата. О похоронах уже позаботились. Счеты сведены, счеты с жизнью. Книга закрыта. Отработанный материал, так называют это печатники.

Mesaventure — условное слово Майкова. А теперь вот Нечаев старается все повернуть по-своему! Он же склоняется, всею душой склоняется к тому, чтобы не верить Нечаеву, чтобы оставить в силе официальный вердикт. Но почему? Потому, что Нечаев ему омерзителен — его личность, его верования? Потому, что он хочет, даже в воспоминаниях, уберечь Павла от нечаевских лап? Или его побуждение бесчестнее: упрямо противиться, сколько удастся, требованиям долга, долга добиться для сына справедливости?

Ибо он сознает в себе это безволие, для коего смерть Павла стала лишь внешней причиной. Он стареет, день за днем обращаясь в того, кем в конце концов, без сомнения, станет, — в старичка, который сидит в углу и за неимением иных занятий перебирает страницы своих утрат.

Это я умер и похоронен, думает он, а Павел жив и всегда будет жив. А то, что я изо всех сил стараюсь проделать ныне, так это понять, в каком обличье воротился я из могилы.

Он вспоминает сибирского собрата-каторжанина, высокого сутулого седого человека, который изнасиловал и задушил свою двенадцатилетнюю дочь. После его нашли сидящим с безжизненным телом в руках на берегу пруда, в котором плавали утки. Он сдался без борьбы, только очень просил, чтобы ему разрешили самому отнести мертвого ребенка домой и положить тело на стол — и проделал все это с великой, как сказывали, нежностью. Другие каторжане его избегали, и он ни с кем не разговаривал. По вечерам он с тихой улыбкой сидел на своей койке и, шевеля губами, читал про себя Евангелия. Можно было бы ожидать, что остракизм понемногу ослабнет, что истинное раскаяние его со временем примут на веру. Однако на деле его продолжали сторониться, не так

из-за преступления, совершенного лет двадцать назад, как из-за этой улыбки, в которой чудилось нечто настолько лукавое, настолько безумное, что кровь стыла в жилах. С такой же улыбкой, говорили друг другу каторжане, он и дело свое совершил, и ничего-то в нем не изменилось.

Почему он вернулся к нему сегодня, этот образ человека у края воды с мертвым ребенком на руках? Ребенком, слишком сильно любимым, ставшим настолько близким, что отец не решился позволить ему жить дальше. Смертельная нежность, нежная смерть. Любовь, вывернутая наизнанку, точно рукавица, обнаруживающая безобразную подстежку свою. Чем же в таком случае подстегана любовь? Он вновь вызывает в памяти этот образ, внимательно вглядывается в лицо, не в закрытые в восторженном упоении глаза, но в едва шевелящиеся губы. Не изнасилование, но насилие хищника — так, стало быть? Отцы, которые пожирают детей, старательно обихаживают их, чтобы потом смаковать, точно деликатесы. Delikatessen.

Не этим ли и объясняется мстительный дух Нечаева: не тем ли, что глазам его предстали отцы во всей наготе их, разбойничья шайка отцов, не таящих своих аппетитов? Что за человек

старший Нечаев, Геннадий? Когда его достигнет известие о том, что у него нет больше сына, а это непременно случится, забьется ль он в угол, чтобы поплакать, или усмехнется тайком?

Он мотает головой, словно желая отогнать докучливых бесов. Что же пятнает чистоту его горя, что твердит, будто это и не горе совсем, а просто скорбная маска? Где-то внутри его сбилась с дороги истина. Словно по лабиринту мозга его да, собственно, и тела — по венам, костям, кишкам, прочим органам — блуждает в поисках света, в поисках выхода малое дитя. Как отыскать в себе заблудившегося ребенка, как позволить ему пропеть его грустную песенку?

«Костяная дудочка». Он вспоминает старую сказку о мальчике, убитом, разрезанном на куски, разбросанном по лесу, мальчике, берцовая кость которого, когда задувал ветер, наигрывала скорбные песни, называя убийц своих по именам. Странно, но он одну за одной вспоминает сказки, слышанные когда-то от бабушки и не понятые, но ненароком зарытые в память, точно кость собакой, на будущее. Великое хранилище сказок, которое люди возвели во времена доисторические и которое сохранили поныне. Пусть Павел отыщет путь к моей берцовой кости, пусть сыгра-

ет на ней свою песенку! «Отец, почему ты бросил меня в темном лесу? Отец, когда ты придешь мне на помощь?»

Свеча пред иконой обратилась в лужицу воска, цветы увяли, поникли. Девочка все же соорудила алтарь да тут же и забыла о нем или его забросила. Или она догадалась, что Павел с ним больше не говорит, что он тоже сбился с пути и слышит теперь голоса одних только бесов?

Он выправляет фитиль, поджигает его, опускается на колени. Глаза Богородицы прикованы к младенцу, а тот глядит на него с доски, воздев укоризненный пальчик.

11
Прогулка

За неделю, прошедшую со времени последней их близости, отношения между ним и Анной Сергеевной приобрели оттенок неловкой чинности. Ее манера держаться с ним стала столь скованной, что девочка, которая не сводила с них глаз и прислушивалась ко всем их разговорам, непременно должна была заключить, что мать ждет не дождется, когда он покинет их дом.

Ради кого поддерживали они эту внешнюю чуждость друг другу? Определенно не ради себя. Предназначаться она могла лишь для детских глаз, для глаз двух детей — присутствующего и отсутствующего.

И все же он жаждал вновь заключить ее в объятия. Да и в ее безразличие к нему не верил нисколько. Себя же ощущал собакой, которая ловит свой хвост, описывая все сужающиеся круги. Он предчувствовал, что, окажись он рядом с нею в спасительной темноте, члены его избавятся наконец от натуги и дух обретет свободу — дух, который ныне, казалось, был притянут узлами к

телу в плечах, в бедрах, в коленях.

Жажду его порождало желание, не вполне проявившее себя в их первую ночь, но ныне, похоже, сосредоточившееся на запахе Анны. Его, как если б оба они были животными, влекло нечто, улавливаемое им в воздухе, ее окружавшем: душок осени и в особенности каштанов. Он начинал понимать жизнь животных да и малых детей, которых притягивают и отталкивают туман, ароматы, неуловимые дуновения. Он видел себя распростершимся на ней, точно лев, тычущимся мордой в волоски на ее шее, зарывающимся носом в подмышку, трущимся лицом меж ее ног.

Запора на двери его нет. Нетрудно вообразить, как в минуту, подобную этой, девочка забредает к нему в комнату и видит его в состоянии — тошнотворное слово, но единственно верное — похоти. Да и мало ли сомнамбул среди детей? Она может встать среди ночи и прийти к нему, даже не проснувшись. Передаются ли эти сокровенные запахи от матери к дочери? Обречен ли человек, любящий мать, вожделеть и дочери тоже? Бессвязные мысли, бессвязные желания! Им предстоит уйти в землю с ним вместе, утаенными ото всех, кроме одного человека. Ибо Павел теперь обитает в нем и не спит никогда.

Ему остается только молиться, чтобы слабость, некогда приведшая мальчика в отвращение, ныне породила одну лишь улыбку на губах его, улыбку подтрунивающую и снисходительную.

Может быть, и Нечаев, когда настанет его черед пересечь темную реку, избавится наконец от своей волчьей природы и снова научится улыбаться.

Итак, на следующий день он ждет против лавки Яковлева появления Анны Сергеевны. Едва завидев ее, он переходит улицу, наслаждаясь удивлением, с которым она на него взирает.

— Не согласитесь ли побродить немного со мной? — спрашивает он.

Она подтягивает к подбородку темную шаль.

— Не знаю. Матрена будет ждать.

Тем не менее они отправляются на прогулку. Ветер утих, воздух бодрящ и прохладен. Приятная сутолока окружает их на улице. Никто не обращает на них внимания. Они могли бы быть супружеской парой, каких немало.

Анна Сергеевна нынче с корзинкой, которую он у нее забирает. Ему нравится ее поступь, широкий шаг, руки, сложенные под грудью.

— Мне уже скоро в дорогу, — говорит он.

Она не отвечает.

Вопрос о жене его по-прежнему нечувствительно их разделяет. Упомянув об отъезде, он ощущает себя шахматным игроком, жертвующим пешку, которая, независимо от того, будет ли она принята или отвергнута, неминуемо приведет к новому, более сложному развитию партии. Всегда ли таковы романтические отношения между мужчиной и женщиной — он плетет свою интригу, она свою? Не в этом ли отчасти и состоит наслаждение — быть целью чужой интриги, ощущать, как тебя загоняют в угол и ласково принуждают к сдаче? И она, идущая рядом с ним, тоже по-своему умышляет против него?

— Я жду лишь завершения следствия. Мне нет даже нужды дожидаться судебного решения. Я только хочу получить бумаги. Все остальное значения не имеет.

— И тогда вы возвратитесь в Германию?

— Да.

Они достигают набережной. Переходя улицу, он берет ее под руку. Бок о бок они прислоняются к парапету.

— Не знаю, ненавижу ли я этот город за то, что он сделал с Павлом, — говорит он, — или ощущаю с ним еще более тесную связь. Потому что теперь он стал домом Павла. Павел никогда уже

не покинет его, не отправится, как мечталось ему, путешествовать.

— Что за глупости, Федор Михайлович, — отвечает она, улыбаясь краешком губ. — Павел с вами. Вы его дом. Он в сердце вашем. Куда поедете вы, туда и он. Это всякому видно.

И она гантированной рукой легко касается груди его.

Сердце подскакивает, словно задетое кончиком ее пальца. Было ли то кокетством или жест этот шел из глубины ее души? Самое естественное сейчас — обнять ее. Он сознает, что взгляд его положительно пожирает ее милые губы, на которых еще мешкает улыбка. И она не уклоняется от этого взгляда. Не юная женщина. Не ребенок. Анна Сергеевна смотрит на него поверх распростертого меж ними тела Павла; и он и она словно отбросили все сомнения прочь. Мелькает мысль: «Если бы только его не было здесь!» — и исчезает, словно свернув за угол.

У уличного лоточника они покупают для ужина пирожки с рыбой. Матрена открывает им, но, завидев спутника матери, поворачивается спиной и уходит. За столом она капризничает, настаивая, чтобы мать выслушала ее длинный, путаный рассказ о пустой ссоре, случившейся

между нею и школьной подружкой. Когда он вставляет несколько слов, содержащих вполне безобидные доводы в пользу подружки, Матрена фыркает, не удостаивая его ответом.

Он знает, девочка что-то почувствовала и старается отстоять свои права на мать. И почему же нет? Это истинные ее права. «И все же, если бы только ее не было здесь!» *Эту* мысль он отогнать не пытается. Не будь здесь ребенка, он не стал бы тратить слов. Он задул бы свет, и в темноте они снова отыскали б друг дружку. И кровать у них была бы пошире, вдовья кровать, протомившаяся по мужскому телу — сколько, она сказала? — четыре года.

Его посещает грубое в своей чувственности видение Анны Сергеевны. Нижняя юбка задрана так высоко, что оголяет ей груди. Он лежит между ног ее, стиснутый долгими, бледными бедрами. Лицо Анны отвернуто, глаза закрыты, дыхание тяжко. И хоть мужчина, совокупляющийся с нею, это он сам, картина видится ему такой, точно он стоит поодаль кровати. Главное в картине — бедра: руки его обвивают их, он прижимает их к своим бокам.

— Ну что же ты, доедай, — говорит Анна Сергеевна дочери.

— Не хочу я есть, и горло болит, — ноет Матрена.

Еще с минуту девочка ковыряется в тарелке, затем отталкивает ее.

Он встает.

— Спокойной ночи, Матреша. Надеюсь, завтра тебе станет лучше.

Девочка не затрудняет себя ответом. Он уходит, оставляя поле боя за нею.

Источник видения ему понятен — открытка, несколько лет тому купленная в Париже и уничтоженная вместе с прочими его эротического характера приобретениями в пору женитьбы на Ане. Длинноволосая женщина лежит под усатым мужчиной. «Цыганская любовь» — гласит сделанная вычурными буквами надпись. Впрочем, у женщины на картинке пухлые ноги и дряблое тело, а на лице ее, повернутом к мужчине (опирающемуся на распрямленные руки), никакого выражения не читается. Бедра Анны Сергеевны, Анны Сергеевны его воспоминаний, худощавее и сильнее, и в пожатии их присутствует некая настоятельность, относимая им к тому, что она не девочка, но взрослая, полная желаний женщина. Взрослая и потому открытая (это слово не пожелало уступить место никакому иному) смерти.

Тело, жаждущее новых впечатлений, ибо знает, что жить ему не вечно. Мысль эта возбуждает, но и тревожит его. Бедрам ее не важно, кто зажат между ними: мужчина на картинке, глядящий на нее несколько сверху и сбоку, одновременно и он, и не он.

На кровати его стоит прислоненное к подушке письмо. На один безумный миг он решает, что это письмо от Павла, занесенное сюда неведомым духом. Но нет, почерк детский. «Я хотела нарисовать Павла Алескандровича, — читает он (Матрена ошиблась в написании отчества), — но у меня не получилось. Если хотите, можете поставить его на алтарь. Матрена». На обороте немного смазанный карандашный портрет молодого человека с высоким лбом и полными губами. Рисунок грубоват, девочка, видимо, и представления не имеет о создающей тени штриховке, но рот и особенно открытый взгляд переданы ею с несомненною верностью.

— Да, — шепчет он, — конечно, поставлю. — Он подносит рисунок к губам, затем прислоняет его к подсвечнику и зажигает новую свечу.

Когда час спустя в дверь стучит Анна Сергеевна, он все еще глядит на пламя.

— Входите. Присядьте.

— Нет, не могу. Матреша неспокойна — боюсь, заболела.

Тем не менее она все же присаживается на кровать.

— Они заставляют нас оставаться добродетельными, наши детишки, — говорит он.

— Добродетельными?

— Пекутся о нашей нравственности. Удерживая нас в отдалении друг от друга.

Как, однако ж, приятно, когда их не разделяет обеденный стол. Да и пламя свечи дышит каким-то мягким уютом.

— Мне жаль, что вам приходится уезжать, — говорит она, — но, возможно, так для вас лучше — оставить этот печальный город. Да и для семейства вашего тоже. Ему, должно быть, грустно без вас. А вам без него.

— Я возвращусь другим человеком. Жена меня не узнает. Или решит, что узнала, и ошибется. Полагаю, нас ожидают трудные времена. Я стану думать о вас. Но кем вы будете мне представляться? Вот вопрос. Жену ведь тоже зовут Анной.

— Мне это имя досталось раньше, чем ей.

Ответ ее неожиданно резок, лишен всякой игривости. И он в который раз понимает: если он полюбил эту женщину, то частью и оттого,

что она уже немолода. Она перешла за черту, к которой жене его еще предстоит приблизиться. Она может быть милее ему, может не быть, но она, безусловно, ближе.

Чувственное напряжение возвращается, еще и усилясь. Всего неделю назад они лежали в этой постели, держа друг друга в объятиях. Возможно ли, что она не думает об этом сейчас?

Потянувшись к ней, он кладет руку ей на бедро. Она наклоняет голову к лежащему у нее на коленях свежевымытому белью. Он придвигается ближе. Обхватив двумя пальцами ее открытую шею, притягивает лицо ее к своему. Она поднимает взгляд: на миг ему кажется, будто он глядит в кошачьи глаза, настороженные, страстные, жадные.

— Мне нужно идти, — шепчет она. Изогнувшись, она освобождается от его руки и исчезает.

Он страстно желает ее. Более того, он желает обладать ею не в этой узкой детской кровати, но на стоящем в соседней комнате вдовьем ложе. Он представляет себе, как она лежит сейчас рядом с дочерью, как блестят в темноте ее открытые глаза. Она принадлежит, впервые вдруг понимает он, к тем женщинам, которых он в своих книгах никогда не описывал. Женщины, которых

он изображал, были не лишены определенной силы, но то была сила внешняя, нервическая. В их чувствах присутствовала напряженность, электричество, непосредственность — и поверхностность. Меж тем как с нею он входит в кровоточащее, инстинктивное тело, ощущения, чувства которого зарождаются в самой его глубине.

Можно ли привить эту особенность другой женщине или развить ее в ней? В его жене, например? Или теперь, обнаружив эту повадку чувств в Анне Сергеевне, он сможет отыскивать ее и в других?

Какое предательство!

Будь он поувереннее в своем французском, он мог бы излить это докучное возбуждение в книге особого рода, в книге, которой в России не напечатают никогда; он мог бы написать ее быстро, за две-три недели, даже не прибегая к помощи переписчицы, — десять листов, три сотни страниц. Ночная книга, в которой все крайности были б представлены без соблюдения каких-либо рамок и границ. Книга, связать которую с ним никто и никогда бы не смог. Рукопись, присланная из Дрездена в Париж, в «Paillard», тайным образом напечатанная и продаваемая из-под прилавка в

левобережной части города. «Мемуары русского дворянина». Книга, которой она, Анна Сергеевна, истинная ее вдохновительница, никогда не увидит. В одной из глав ее родовитый мемуарист читает вслух юной дочери своей любовницы рассказ о совращении девочки, и по мере чтения становится все более очевидно, что он-то совратителем и был. Рассказ полон интимных подробностей, недомолвок, однако слушательницу он не совращает, напротив, отпугивает, но насылает ей сновидения, которые заставляют ее настолько усомниться в собственной чистоте, что три дня спустя она в отчаянии отдается ему, отдается самым постыдным способом, до которого не додумалась бы ни единая девочка, не будь история совращения и падения глубоко запечатлена в ее сознании загодя.

Воображаемые мемуары. Мемуары воображения.

Не в этом ли и кроется ответ на вопрос, который он себе задает? Не в этом ли свобода, которой она его наделила: свобода написать книгу, пропитанную злом? И для чего? Чтобы избавиться от зла или чтобы порвать с добром окончательно?

Ему приходит в голову (весь дом уже погрузился в молчание), что ни в одной из этих пространных

грез он ни разу не вспомнил о Павле. И Павел возвращается, жалобно постанывая, бледный, ищущий, где приклонить главу! Бедный ребенок! Пиршество ощущений, его наследство, отнято у него! Лежа в постели Павла, он не в силах сдержать в себе дрожь смутного торжества.

По утрам квартира обычно остается в полном его распоряжении. Но сегодня Матреша, раскрасневшаяся, сухо кашляющая, дышащая с трудом, в школу не пошла. Присутствие девочки еще более обыкновенного затрудняет для него занятия сочинительством. Он ловит себя на том, что прислушивается к шлепанью ее босых ног в соседней комнате, а минутами готов поклясться, что чувствует ее взгляд, сверлящий ему спину.

В полдень дворник приносит повестку. Он сразу признает серую бумагу и красный сургуч. Ожидание кончилось: его уведомляют о необходимости явиться в кабинет пристава следственных дел П. П. Максимова по делу П. А. Исаева.

Со Свечной он отправляется на вокзал, заказывает место в поезде, потом идет в полицейский участок. В приемной полно народу, он называет свое имя письмоводителю и погружается в ожидание. Часы начинают отбивать четыре, и при первом же их ударе письмоводитель кладет

перо, потягивается, гасит лампу и принимается выпроваживать еще оставшихся в приемной просителей.

— Позвольте, что это значит? — протестует он.

— Нынче пятница, закрываемся раньше, — отвечает письмоводитель. — Приходите с утра.

В шесть он ждет у лавки Яковлева. Увидев его, Анна Сергеевна пугается.

— Матреша?.. — спрашивает она.

— Когда я уходил, спала. Я заглянул в аптеку, купил капли от кашля. — Он протягивает ей коричневого стекла пузырек.

— Спасибо.

— Меня опять вызывали в полицию насчет бумаг Павла. Надеюсь, завтра все решится.

Некоторое время они шагают в молчании. Анна Сергеевна, похоже, что-то обдумывает. Наконец она спрашивает:

— Есть ли какая-нибудь особенная причина, по которой вам необходимо получить эти бумаги?

— Удивляюсь вопросу вашему. Ведь от Павла более ничего не осталось. Что же может быть важнее для меня, чем эти бумаги? Они — его слово, ко мне обращенное. — И, помолчав, он добавляет: — Вы знали, что Павел писал рассказ?

— Рассказы? Да, знала.

— В том, о котором я говорю, описан беглый каторжанин.

— Этот мне незнаком. Он иногда читал нам с Матрешей написанное, хотел услышать наше мнение. Но про каторжника не читал.

— Я не знал, что существуют другие рассказы.

— Существуют. И стихи — но их он нам показывать не решался. Должно быть, полиция и их забрала со всем остальным. Они долго пробыли в его комнате, все что-то искали. Я вам не говорила. Поднимали даже доски в полу и заглядывали под них. И забрали с собой каждый клочок бумаги.

— Так, стало быть, этим Павел и занимался — писал?

Она бросает на него странный взгляд.

— Чем же еще, по-вашему?

Он успевает сдержать едва не слетевший с губ ответ.

— Отец — писатель, разве можно было ожидать иного? — продолжает она.

— Умение писать по наследству не передается.

— Возможно, и нет. Не мне судить. Он, впрочем, и не намеревался зарабатывать писательством на жизнь. Быть может, он видел в этом способ сблизиться с отцом.

Он горестно взмахивает рукой. «Я его и без

рассказов любил бы!» — думает он. Но говорит другое:

— Отцовская любовь дается не в награду.

Анна Сергеевна явно колеблется, прежде чем произнести следующие слова:

— Я должна вас предупредить кое о чем, Федор Михайлович. У Павла было что-то вроде культа отца — Александра Исаева, хочу я сказать. Я бы не стала о нем упоминать, если б не думала, что вы можете обнаружить следы его в этих бумагах. Будьте терпимее. Дети склонны романтизировать своих отцов. Даже Матрена…

— Романтизировать Исаева? Исаев был пьяницей, ничтожным человеком и дурным мужем. Его жена, мать Павла, под конец видеть его не желала. Она бы ушла от него, если б он прежде не умер. Как можно романтизировать такого человека?

— Да так и можно, нужно лишь окутать его некой дымкой. Вы же, если позволите, стояли к Павлу слишком близко.

— Лишь потому, что именно мне приходилось растить его день за днем. Я сделал его сыном моим, когда все остальные его покинули.

— Не преувеличивайте. Родители не покинули его, они умерли. И потом, если вы имели право

выбрать его в сыновья, зачем же лишать его права выбрать себе отца?

— Да затем, что он мог найти кого-нибудь получше Исаева! Это становится болезнью нашего века: молодые люди отвращаются от родителей, от домов своих, от воспитателей, потому что те им больше не по сердцу! Им, похоже, ничего уже не по сердцу, разве вот быть сыновьями и дочерьми Стеньки Разина с Бакуниным!

— Глупости. Не Павел покинул свой дом. Это вы покинули Павла.

Наступает сердитое молчание. Когда они доходят до Гороховой, он, извинившись, расстается с ней.

Он прохаживается туда-сюда вдоль по набережной, размышляя о том, что сказала Анна Сергеевна. Что говорить, он выказал себя со стороны отчасти постыдной и теперь негодует на нее за то, что это произошло у нее на глазах. И одновременно стыдится мелочности, проступающей в этом негодовании. В который раз он впал в привычное нравственное неряшество — до того уже привычное, что оно его и не смущает больше, что и еще стыднее. Впрочем, и нечто иное беспокоит его, будто острие гвоздя, едва-едва высунувшегося из подошвы, нечто такое, чего он

не может или не желает ясно определить.

Когда он возвращается в квартиру, в воздухе еще витает напряжение. Матреша встала. Она в накинутом прямо на ночную рубашку пальто матери, но при этом боса. «Мне скучно!» — снова и снова твердит она ноющим тоном. На него она внимания не обращает. И хоть и садится с ними за стол, но ничего не ест. Кисленький запашок исходит от нее, она шмыгает носом и время от времени разражается сухим кашлем.

— Тебе не следовало вставать, голубушка, — мягко замечает он.

— А вы мне не указывайте, вы мне не отец! — выпаливает она.

— Матреша! — одергивает девочку мать.

— Так не отец же! — повторяет она и умолкает, надувшись.

Он уже лежит в кровати, когда входит, пристукнув дверь, Анна Сергеевна.

— Как она? — приподнявшись в постели, негромко спрашивает он.

— Я дала ей немного вашего лекарства, вроде успокоилась. Конечно, не следовало выпускать ее из постели, но она такая своевольница, ее не удержишь. Я пришла извиниться за сказанное мною. И спросить, каковы ваши завтрашние

планы.

— Извиняться вам нужды нет. Это я кругом виноват. Я взял билет на вечерний поезд. Но это можно переменить.

— Зачем? Завтра вам отдадут бумаги. К чему же что-то менять? К чему оставаться здесь дольше необходимого? Не хотите же вы, в конце концов, обратиться в вечного жильца. Есть, кажется, книга с таким названием.

— «Вечный жилец»? Нет, не припомню. А изменить можно любые предуготовления, включая и завтрашние. Ничто ведь не окончательно. Впрочем, в нынешнем случае это все не в моей власти.

— А в чьей же тогда?

— В вашей.

— В моей? Ничуть! Ваши предуготовления — ваша и власть. Моей доли в них нет. Ну что же, давайте прощаться. Утром я вас не увижу. Мне придется подняться пораньше, завтра базарный день. Ключ можете оставить в двери.

Вот и настал тот самый миг. Он набирает побольше воздуху в грудь. В голове совершенно пусто. Он начинает говорить, отдаваясь на милость словам, возникающим в этой пустоте, следуя за ними туда, куда они ведут его.

— На пароме, когда вы провожали меня к могиле Павла, — говорит он, — я увидел, как вы с Матрешей стоите, глядя в туман, у перил — помните, какой туманный был день? — и сказал себе: «Она вернет мне его. Она… — он прерывается, чтобы еще раз набрать воздуху, — она проводница душ». Я не совсем такими словами подумал тогда, но теперь уж знаю, что слова эти верные.

Анна Сергеевна смотрит на него безо всякого выражения. Он берет ее ладонь в свои.

— Мне нужно, чтобы Павел вернулся, — говорит он. — Вы должны мне помочь. Я хочу поцеловать его в губы.

Еще произнося эти фразы, он сам улавливает звучащее в них безумие. Похоже, он способен впадать в помешательство и выпадать из него с легкостью мухи, снующей взад-вперед сквозь открытую форточку.

Она напрягается, готовясь вырваться и убежать. Он крепче стискивает ей руку, не отпуская ее.

— Это правда. Именно такой я вас представляю себе. Павел поселился здесь не случайно. Где-то было записано, что отсюда его должны увести… в ночь.

Он и верит и не верит тому, что говорит. Мель-

кает обрывок воспоминания о картине, виденной в какой-то галерее: женщина в темном строгом платье стоит у окна, рядом с нею дитя, оба смотрят в звездное небо. Хотя золоченые завитушки на раме он помнит живее, чем саму картину.

Ладонь ее безжизненно лежит в его ладонях.

— У вас есть эта власть, — продолжает он, все еще следуя за словами, как за путеводным огнем, и не зная, куда они его завлекут. — Вы способны вернуть его. На минуту, на одну лишь минуту.

Он вспоминает, какой сухой она показалась ему при первой их встрече. Точно мумия: сухие косточки, обернутые в саван, который, стоит его коснуться, рассыплется в пыль. Когда она наконец открывает рот, голос ее исходит из горла словно бы со скрипом.

— Вы слишком сильно любите его, — говорит она, — и, уж наверно, снова увидитесь с ним.

Он выпускает руку, и Анна Сергеевна подтягивает ее к себе, точно костяную цепочку. «Зачем вы надо мною смеетесь?!» — хочет сказать он.

— Вы же художник, мастер, — произносит она. — Вам, а не мне и возвращать его к жизни.

«Мастер». Для него это слово связано с металлом — с ковкой мечей, с литьем колоколов. Мастер-кузнец, литейный мастер. «Мастер жиз-

ни» — странное выражение. Но он готов обдумать его. Он готов принять любое слово, каким бы странным оно ни казалось, если только есть шанс, что в нем таится анаграмма Павла.

— Какой уж там мастер, — говорит он. — Я расколот. На что годится треснувший колокол? Треснувший колокол уже не починишь.

Это, конечно, верно. Но в то же время он вспоминает один из колоколов Троицкого собора в Сергиевой лавре, треснувший еще до времен Екатерины. Его не сняли, не отправили в переплавку. Он так и звонит над городом каждый день. В народе его зовут деревянной ногой святого Сергия.

Теперь в ее голосе слышится раздражение.

— Я сочувствую вам, Федор Михайлович, — говорит она, — но не забывайте же, что вы не первый из родителей, потерявших свое дитя. Павел прожил двадцать два года. Подумайте о других, о тех, кто скончался в младенчестве.

— И?..

— И поймите, что утрата — это правило, а не исключение. И спросите у себя, по ком вы скорбите — по Павлу или по себе самому?

Утрата. Между ним и нею словно ложится ледяная пустыня.

— Я не утратил его, Павел не утрачен, — сквозь

стиснутые зубы выдавливает он.

Анна Сергеевна пожимает плечами.

— Если он не утрачен, то вы должны знать, где он теперь. Здесь его определенно нет.

Он обводит взглядом комнату. Нагромождение теней в углу — не следы ли это провеявшего здесь призрака?

— Человек не может не оставить хоть малой части своей в том месте, где жил, — шепчет он.

— Нет, конечно, не может. О том я вам давеча и твердила, еще днем. Но только оставленное им не в этой комнате находится. Поговорите с Матреной. Помиритесь с нею перед отъездом. Она очень была дружна с вашим сыном. Если он и оставил какой-то оттиск, то уж, верно, на ней.

— А на вас?

— Я сильно к нему привязалась, Федор Михайлович. Он был добрым и великодушным молодым человеком. И то, что он приходился вам сыном, жизни его не облегчало. Он был одинок, не уверен в себе, старался найти собственный путь. Я все это понимала. Но я не принадлежу к его поколению. Разговаривать со мной так, как с Матреной, он не мог. С нею он вновь становился ребенком. — Она замолкает, но ненадолго. — Мне часто казалось — позвольте мне упомянуть об

этом, раз уж мы говорим откровенно, — что Павел слишком рано расстался с детством, не успев наиграться. Не знаю, приходилось ли вам думать об этом. Возможно, нет. И все же меня и теперь удивляет, что вы сердиты на него за такой пустяк, как сон до позднего часа.

— Что же тут для вас удивительного?

— Да то, что я ожидала найти в вас, в художнике, больше сострадания и сочувствия. Одни дети мечтают во сне, другие дожидаются дня, чтобы предаться мечтаниям. Следует дважды подумать, перед тем как будить спящего ребенка. Когда Павел оставался с Матреной, ребенок, скрытый в нем, получал возможность выйти наружу. Теперь я рада, что это происходило, рада, что Павел этой возможности не упустил.

Он видит вдруг семилетнего Павла в клетчатом сером пальто, в треухе, в великоватых ему сапожках — мальчик прыжками несется по снегу и что-то кричит как очумелый. В самом углу картины вырисовывается что-то еще, от чего он спешит отмахнуться.

— Мы с Павлом впервые свиделись в Семипалатинске, когда мальчику уже было семь лет, — говорит он. — Он не питал ко мне особой приязни. Я был для него чужим человеком, к

которому он и мать его переехали на жительство. Человеком, отнявшим у него мать.

Мать овдовела. Сын вдовы. Вдовий сын.

Он не успевает еще договорить, как то, от чего он отмахнулся было, упрямо возвращается — существо, которое он может обозначить лишь как тролля, уродливая маленькая тварь, рыжеволосая, рыжебородая, ростом не выше трех-, четырехлетнего мальчугана. Павел еще скачет по снегу, крича и пристукивая, точно жеребенок, коленкой о коленку. Тролль же стоит в сторонке и смотрит. На нем кожаная жилетка цвета ржавчины, шея открыта, похоже, он (или оно) и стужи-то не ощущает.

— …Для ребенка трудно… — Она тем временем говорила что-то, им наполовину пропущенное.

Кто эта мерзкая тварь? Он пристально вглядывается в лицо. И с внезапным потрясением узнает его. Ноздреватая кожа, оспенные шрамы, от холода вздувшиеся и посиневшие, жидкая бородка, из этих оспин растущая, — снова Нечаев, умалившийся, добравшийся до Сибири, чтобы омрачить начальную пору сына его! Что означает это видение? Он издает тихий стон, и Анна Сергеевна примолкает на полуслове.

— Простите, — просит он.

Но она обиделась.

— Вам, конечно, нужно еще уложиться, — говорит она и, не слушая его извинений, выходит.

12
Исаев

Его проводят в тот же кабинет. За столом, однако же, сидит другой полицейский чиновник, не Максимов. Не представившись, этот другой указывает ему на стул.

— Имя ваше? — спрашивает чиновник.

Он называется.

— Я полагал, что увижу господина Максимова.

— Дойдет черед и до Максимова. Занятие?

— Писатель.

— Писатель? Какого рода писатель?

— Пишу книги.

— Какого рода книги?

— Романы. Рассказы.

— Для детей?

— Нет, то есть не специально для детей. Хотя надеюсь, что и дети их смогут читать.

— Ничего неподобающего?

Неподобающего? Он задумывается.

— Ничего такого, что способно повредить ребенку, — отвечает он наконец.

— Хорошо.

— Впрочем, во всяком сердце есть темные уголки, — с неохотою добавляет он. — Только не всякий об этом знает.

Чиновник впервые с начала их разговора отрывает глаза от бумаг.

— То есть это вы что же хотите сказать?

Он моложе Максимова. Помощник его?

— Ничего. Ничего.

Чиновник кладет перо.

— Хорошо, займемся покойным Ивановым. Иванова вы знать изволили?

— Не понимаю. Я полагал, что меня вызвали сюда в связи с бумагами сына.

— Все в свое время. Итак, Иванов. Когда вы с ним познакомились?

— Первый наш разговор произошел с неделю назад примерно. Он слонялся у дверей дома, в котором я нынче стою.

— Шестьдесят третий нумер по Свечной.

— Шестьдесят третий нумер по Свечной. Было очень уж холодно, и я предложил ему кров. Он провел ночь в моей комнате. На другой день мне сказали, что неподалеку от нас совершилось убийство и что подозревают Иванова. Лишь впоследствии…

— Подозревают Иванова? В убийстве? Должен

ли я так вас понять, что вы сочли Иванова убийцей? Откуда вы это взяли?

— Позвольте же мне закончить! Подобного толка слухи ходили по нашему дому, или, может быть, девочка, которая пересказала их мне, что-то напутала, не знаю. Да и какая разница, в сущности, если он уже мертв? Меня удивило и напугало, что жертвой оказался человек вроде него. Он был совершенно безвреден.

— Однако ж он был не тем, за кого себя выдавал, не так ли?

— Вы хотите сказать, не нищим?

— Вот-вот, нищим-то он все-таки не был?

— Так это ведь с какой точки взглянуть: можно сказать, что не был, а можно, что и был.

— Как-то туманно у вас все выходит. Вы заявляете, будто не знали о занятиях Иванова? Оттого вы и удивились?

— Я удивился тому, что кто-то счел возможным рискнуть своей бессмертной душой, чтобы убить безвредное ничтожество.

Чиновник сардонически глядит на него.

— Ничтожество — вы, стало быть, так его по-христиански аттестуете?

В эту минуту в кабинет торопливо входит Максимов. Под мышкой у него несколько дел,

перевязанных вместе розовой тесьмой. Он роняет дела на стол, извлекает носовой платок, утирает лоб.

— И жара же у нас! — бормочет он, затем, обращаясь к чиновнику, произносит: — Благодарствуйте. Закончили?

Чиновник, не отвечая, собирает свои бумаги и покидает кабинет. Пыхтя, отирая лицо, Максимов устраивается в кресле.

— Простите великодушно, Федор Михайлович. Так вот, касательно бумаг пасынка вашего. Боюсь, кое-что нам придется оставить у себя, именно список людей, назначенных для ликвидации, как изволят выражаться наши друзья, поскольку допустить широкое хождение его — и я уверен, тут вы со мной согласитесь, — никак невозможно-с, потому что паника поднимется чрезвычайная. Помимо того, список этот в должное время станет уликой в деле Нечаева. Что же до прочих бумаг, они ваши, мы с ними покончили, весь, так сказать, мед из них высосали.

И однако ж, прежде чем я возвращу их вам, я хотел бы сказать еще кое-что, ежели вы окажете честь меня выслушать.

Ежели б я почитал себя только за должностное лицо, столкнувшееся с вами на путях, так ска-

зать, исполнения долга моего, я бы вернул вам эти бумаги без долгих разговоров. В настоящем, однако, случае я не просто должностное лицо, но и, коли дозволите прибегнуть к подобному слову, доброжелатель, человек, принимающий интересы ваши близко к сердцу. И как такового меня тревожат серьезнейшие сомнения касательно передачи вам этих бумаг. Позвольте же мне их высказать. Вас ожидают мучительные открытия — мучительные и ненужные. Если бы вы сочли возможным последовать смиренным указаниям моим — я мог бы назвать страницы, которых вам лучше не касаться. Однако, зная вас так, как я знаю, — я разумею знание, приобретаемое о писателе при чтении книг его, знание, так сказать, интимное, но имеющее свои границы, — я готов предположить, что усилия мои возымеют действие противуположное, а именно: раззадорят ваше любопытство. А потому скажу лишь следующее: не вините меня в том, что я прочел эти бумаги — в конце концов, таков долг, возложенный на меня государем, — и не сердитесь за то, что я правильно предсказал (если, конечно, я правильно предсказал) впечатление, которое они на вас произведут. Ежели дальнейшие события не примут какого-либо причудливого оборота,

нам с вами свидеться более не придется. Нет решительно никаких причин, запрещающих вам сказать себе, что я свое существование прекратил — точно так, как перестает существовать книжный персонаж, стоит только закрыть книгу. На мой же счет можете быть уверены, я — молчок. Никто и никогда не услышит от меня ни слова об этом прискорбном эпизоде.

Произнеся это, Максимов средним пальцем правой руки подвигает через стол на редкость пухлое дело с бумагами Павла.

Он подымается, берет бумаги, кланяется и уж было выходит, когда Максимов вновь заговаривает с ним:

— С дозволения вашего я задержал бы вас еще на минуту по делу несколько иному: вам, случаем, не довелось ли встретить кого-либо из нечаевской шайки здесь, в Петербурге?

Иванов! Нечаев! Вот, стало быть, причина, по которой его сюда вызвали! Павел, бумаги, покаянные речи Максимова — все это лишь обходные маневры, приманка!

— Не понимаю, к чему клонится вопрос ваш, — холодно отвечает он. — И не вижу, по какому праву вы задаете его или ожидаете ответа.

— Да ни по какому! На этот счет можете быть

спокойны — вас ни в чем не винят. Я просто-напросто задал вопрос. Что до направления его, так о нем догадаться нетрудно. Я рассудил, что, побеседовав со мною о пасынке, вы сочтете не столь уже затруднительным поговорить и о Нечаеве. Ибо при давешней нашей беседе мне показалось, что вы позволили себе высказать нечто, имеющее смысл двойственный. Слова, которые, если можно так выразиться, прикрывают другие слова. Вы как на это смотрите? Или я ошибаюсь?

— Какие слова? И что они прикрывают?

— Про то вам лучше знать.

— Вы ошибаетесь. Я не изъясняюсь загадками. Всякое слово, мной сказанное, значит то, что значит. Павел — это Павел, не Нечаев.

С этим он поворачивается и уходит, и Максимов больше не окликает его.

Кривыми улочками Московской части он несет бумаги к Свечной, к шестьдесят третьему нумеру, по лестнице на третий этаж, в комнату, закрывает дверь.

Он развязывает тесьму. Сердце неприятно колотится. В спешке его положительно присутствует нечто безвкусное. Он словно бы переносится назад, в отрочество, в долгие, потные вечера, проводимые в спальне друга, Альберта, над книгами,

которые Альберт тишком таскал с полок своего дяди. Тот же страх оказаться пойманным на месте преступления (сам по себе упоительный), та же страстная сосредоточенность.

Помнится, Альберт показал ему двух совокуплявшихся мух, самца на спинке самки. Альберт держал их в сложенной чашкой ладони. «Смотри», — сказал Альберт и, захватив пальцами одно из крылышек самца, слегка потянул. Крылышко оторвалось. Муха этого даже не заметила. Он оторвал и второе крыло. Самец со странной на вид, какой-то лысой спиной продолжал свое занятие. И Альберт с искаженным отвращением лицом швырнул мух на пол и раздавил.

Он способен представить себя глядящим в глаза мушиного самца, у которого отрывали крылья: он совершенно уверен, что тот даже не сморгнул бы, даже и его самого не заметил бы. Словно на время соития душа самца перешла в самку. Мысль эта заставляет его содрогнуться, порождая желание перебить всех мух, какие есть на свете.

Ребяческая реакция на действия, которых он не понимал, которых страшился, потому что все вокруг, перешептываясь, ухмыляясь, казалось, давали ему понять, что настанет день, когда и ему хочешь не хочешь, а придется их совершать.

Мальчика подмывало закричать: «Не хочу, не хочу!» — «Да чего не хочешь-то? — ответили бы, приобретая вдруг вид удивленный и недоуменный, те, кто за ним наблюдал. — Господи боже, о чем он толкует, этот странный мальчишка?»

Пухлое дело вмещает дневник в кожаном переплете, пять толстых школьных тетрадей, двадцать, не то двадцать пять сколотых вместе разрозненных листов, пачку перевязанных бечевкой писем и несколько печатных брошюр — статейки Бланки и Ишутина, пространную статью Писарева. Разрозненные фрагменты «De officiis»[4] Цицерона, извлечения с французским переводом. На последней странице две надписи незнакомой рукой: «Salus populi suprema lex esto»[5], и ниже, чернилами посветлее: «Talis pater qualis filius»[6].

Послание, вернее, послания: но от кого и кому?

Он берется за дневник и, не читая, двумя пальцами, точно карточную колоду, прокручивает страницы. Вторая половина дневника пуста. Но

---

[4] Примечания: 4
«О законах» (*лат.*).

[5] Примечания: 5
Благо народа пусть будет высшим законом (*лат.*).

[6] Примечания: 6
Каков сын, таков и отец (*лат.*).

листов и без того исписано немало. Он заглядывает в начало, проверяя первую дату. 29 июня 1866-го, день рождения Павла. Видимо, дневник был получен в подарок. Но от кого? Он не может припомнить. 1866-й памятен ему лишь в связи с Аней как год, в который он повстречал и полюбил свою будущую жену. Год, в который ему было не до Павла.

Словно пробуя слишком горячее блюдо, настороженный, готовый отпрянуть, он принимается за чтение первой записи. Отчет, и довольно тяжеловесный, о том, как Павел провел день. Слог человека, опыта в ведении дневника не имеющего. Впрочем, ни обвинений, ни укоров. С чувством облегчения он закрывает дневник. Как буду в Дрездене, обещает он себе, выберу время и прочту от начала до конца.

Что до писем, это письма от него. Он разворачивает самое недавнее, последнее перед смертью Павла. «Я послал Аполлону Григорьевичу[7] пятьдесят рублей, — читает он. — Это все, что мы сейчас можем себе позволить. Пожалуйста, не проси у А. Г. большего. Нужно учиться жить по средствам».

---

[7] Примечания: 7

Автор, похоже, спутал Аполлона Григорьева с Аполлоном Николаевичем Майковым. Ошибка для человека нерусского простительная.

Последние его слова, обращенные к Павлу, и какие же мелочные! И Максимов прочел их! Не диво, что он остерегал меня от чтения! Как унизительно! Его охватывает желание сжечь это письмо, вычеркнуть его из истории.

Он отыскивает рассказ, который читал ему вслух Максимов. Максимов был прав: фигура Сергея, юного героя рассказа, сосланного в Сибирь за то, что он возглавил студенческий бунт, решительно неудачна. Но рассказ, оказывается, длиннее, чем пытался уверить его Максимов. Несколько дней, проходящих после убийства мерзавца помещика, Сергей и его Марфа спасаются бегством от преследующих их солдат, укрываясь с помощью крестьян, которые прячут их, отвечая на расспросы преследователей с недоумевающей тупостью, то в хлеву, то в амбаре. Поначалу они в товарищеской невинности спят бок о бок, но понемногу ими овладевает любовь, переданная не без чувства, не без убедительности. Павел определенно подбирался к описанию страстной сцены. Одна перечеркнутая жирной чертой страница содержит по-юношески пылкую речь Сергея, в которой он признается Марфе, что та стала для него не просто соратницей в борьбе, но овладела и сердцем его; тут же содержится куда более лю-

бопытный эпизод, в котором он рассказывает ей о своем одиноком, без братьев и сестер, детстве, об отроческой скованности, охватывавшей его в присутствии женщин. Эпизод завершается запинающимся признанием Марфы в ответной любви. «Ты можешь… можешь…» — говорит она.

Он пролистывает несколько страниц, возвращаясь назад. «Я рос без родителей, — говорит Марфе Сергей. — Отец мой был дворянин, сосланный в Сибирь за сочувствие революционерам. Он умер, когда мне исполнилось семь лет. Мать снова вышла замуж. Новый ее муж меня не любил. Едва я достиг положенного возраста, он сбыл меня в кадетское училище. В классе я был самым маленьким — тогда я и научился отстаивать свои права. Впоследствии они перебрались в Петербург, зажили своим домом и тогда уж послали за мною. Потом мать умерла, а я остался с отчимом, человеком угрюмым, от которого я порою по целым дням не слышал ни слова. Я томился одиночеством, и единственными друзьями моими были слуги, от них-то я и узнал о страданиях народа».

И ведь не скажешь, что ложь, чистая ложь, но как ловко все перевернуто, как искажено! Можно же испытывать жалость к семилетнему мальчи-

ку, искренне оберегать его, но как его полюбить, когда он столь мнителен, столь неулыбчив, когда он пиявкой впивается в мать, ноет по поводу каждой минуты, проведенной ею без него, когда каждую ночь из смежной с их спальней комнаты до полудюжины раз доносится тонкий, назойливый голос, зовущий мать, чтобы она прибила комара, который его кусает?

Он откладывает рукопись. Отец — дворянин, подумать только! Бедное дитя! Конечно, правда куда безрадостнее, а уж безрадостнее полной правды и не придумаешь ничего. Впрочем, никто и не ждет, что ангел-летописец станет записывать полную тусклую правду. Сам-то он в двадцать два года разве с большей приверженностью к истине писал?

Ему хочется сказать Павлу нечто безмерно важное, чего юноша, увы, никогда уже не сможет услышать. Если тебе ниспослан дар писателя, хочет сказать он, не забывай, что его породило. Ты пишешь *именно потому*, что детство твое прошло в одиночестве, *потому*, что тебя не любили. («Однако и это еще не все, — хочется добавить ему, — тебя любили и продолжали бы любить, ты сам сделал выбор, сам захотел стать нелюбимым». Какая невнятица! Первый попавшийся

хам с гармоникой нашел бы слова получше!) Не от избытка беремся мы за перо, хочет сказать он, но от нужды и от боли. И в сердце твоем ты знал это наверно! Что же до твоего так называемого настоящего отца и его сочувствия революционерам, так это решительный вздор. Исаев был мелким чиновником, писарем. Проживи он подольше, и ты отправился бы по стопам его, стал бы чиновником и никаких бы рассказов после тебя не осталось. («Ну да, — слышит он высокий детский голос, — зато я остался бы жив!»)

Юноши в белом, играющие во французскую игру, в крокет, croixquette, и ты среди них, живой, на зеленой лужайке! Бедный мальчик! Я вижу тебя на улицах Петербурга то во взмахе чьей-то руки, то в повороте головы, и всякий раз сердце мое вздымается будто волною. Нигде и везде, разодранный и расточенный, точно Орфей. Дни молодости, chryseos — золотые, блаженные.

Мне же осталась задача: копить сокровища, собирать воедино разбросанные останки. Поэт, бряцатель на лире, заклинатель, вершитель воскрешения — вот в чем мое призвание. А истина? Затекшие плечи, согбенные над письменным столом, и боль в неповоротливом сердце. В черепашьем сердце.

Я пришел слишком поздно, чтобы поднять крышку гроба, чтобы поцеловать твой холодный лоб. Если бы губы мои, нежные, как пальцы слепца, смогли всего только раз коснуться тебя, ты не покинул бы этот мир, тая на меня обиду. Но ты ушел из него как Исаев, а мне, старику, старому скитальцу, осталось лишь брести за тобой, преследуя тень, лиловую на сером, преследуя эхо.

И все же я здесь, а отца, Исаева, нет здесь. Если бы, утопая, ты потянулся к Исаеву, ты ухватил бы лишь руку призрака. В пыльных бумагах, хранимых в коробках, выставленных на черную лестницу семипалатинской городской управы, еще, быть может, и удастся сыскать его росчерк, но в *этой* памяти, в памяти старика, прижавшего когда-то к груди его жену и ребенка, никаких более следов его не осталось.

13
Перемена обличья

Дело Павла закрыто. Ничто больше не держит его в Петербурге. Поезд отходит в восемь, во вторник он уже будет в Дрездене, с женой и ребенком. Но по мере приближения этого часа он со все большим трудом представляет себе, как уберет с алтаря портреты Павла, как задует свечу и уступит комнату чужому человеку.

Однако если он не уедет сегодня, то когда же? «Вечный жилец» — где подхватила эту фразу Анна Сергеевна? И сколько еще времени дожидаться ему появления призрака? Он, разумеется, может переменить свои отношения с этой женщиной, решительно переменить. Но как тогда быть с женой?

Мысли его мешаются, он не понимает, чего хочет, но знает лишь, что эти восемь часов нависают над ним смертным приговором. Он находит дворника и после долгой торговли договаривается, что тот пошлет кого-нибудь с его билетом на вокзал, чтобы перенести отъезд на завтрашний день.

Вернувшись в квартиру, он с испугом видит, что дверь в комнату его открыта, а в самой комнате кто-то есть: женщина стоит спиной к нему, разглядывая портреты Павла. На миг мелькает виноватая мысль, что это жена приехала в Петербург и отыскала его. Затем он узнает женщину и с трудом удерживается от протестующего крика: Сергей Нечаев, в том же синем платье и в той же шляпке, что прежде.

Тут появляется Матрена и, не давая ему произнести ни слова, переходит в наступление.

— Разве можно так подкрадываться к людям! — восклицает она.

— Но что вы двое делаете в моей комнате?

— У нас столько же прав… — горячо начинает она. Однако Нечаев перебивает ее.

— Кто-то навел на нас полицию, — говорит он, подступая на шаг. — Надеюсь, не вы.

Сквозь аромат лаванды пробивается зловоние мужского пота. Пудра на горле Нечаева лежит неровными полосами, сквозь нее проросла щетина.

— Это неуместное, совершенно неуместное обвинение. Спрашиваю во второй раз: что вы делаете в моей комнате? — Он поворачивается к Матрене: — А ты… ты больна, тебе следует в

постели лежать!

Словно не слыша, она вытаскивает из-под кровати чемодан Павла.

— Я сказала ему, что он может взять одежду Павла Александровича, — говорит она и, не давая времени возразить, продолжает: — Да, может! Павел купил ее на свои деньги, и к тому же Павел был его другом!

Она открывает чемодан, вытаскивает белую сюртучную пару.

— Вот! — вызывающе произносит она.

Окинув пару взглядом, Нечаев расправляет ее на постели и начинает расстегивать платье.

— Извольте объяснить…

— Нет времени. Еще рубашка нужна.

Нечаев вытягивает руки из рукавов. Платье спадает ему до лодыжек, он стоит перед ними в грязном хлопчатом исподнем и черных лакированной кожи ботинках. Он без чулок; у него сухопарые, волосатые ноги.

Нимало не смущаясь, Матрена хлопочет, помогая Нечаеву влезть в одежду Павла. Он хочет протестовать, но что может сказать он этим детям, когда они, затыкая уши, смыкают ряды против стариков?

— Что сталось с вашей чухонской подружкой?

Она с вами?

Нечаев натягивает сюртук. Сюртук длинен ему и слишком широк в плечах. Не так ладен, как Павел, и далеко не так красив. Он ощущает безутешную гордость за сына. Смерть взяла не того человека!

— Пришлось ее бросить, — говорит Нечаев. — Нужно было поскорее убраться оттуда.

— Иными словами, вы сдали ее полиции. — И, не дожидаясь ответа Нечаева, он добавляет: — Умойтесь. Вы похожи на клоуна.

Матрена выскальзывает из комнаты и возвращается с влажной тряпицей. Нечаев протирает лицо.

— Лоб тоже, — говорит Матрена. — Вот здесь.

Она берет тряпицу из рук Нечаева и оттирает пудру, комками налипшую ему на брови.

Сестричка. Она и с Павлом вела себя так же? Что-то вгрызается в его сердце: зависть.

— Неужто вы и вправду рассчитываете ускользнуть от полиции, разгуливая средь зимы в костюме дачника?

Нечаев не обращает внимания на колкость.

— Мне нужны деньги, — говорит он.

— От меня вы их не получите.

Нечаев поворачивается к девочке.

— У тебя есть что-нибудь?

Матрена опрометью вылетает из комнаты. Слышно, как она волочет по полу стул. Возвращается она с банкой, полной монет, высыпает их на постель и принимается пересчитывать.

— Маловато, — бормочет Нечаев, но, однако же, ждет окончания счета.

— Пять рублей и пятнадцать копеек, — объявляет Матрена.

— Нужно больше.

— Так ступайте на улицу и просите милостыню. Я вам денег не дам. Идите просите подаяния во имя народа.

Они с ненавистью глядят один на другого.

— Почему вы не даете ему денег? — спрашивает Матрена. — Он же друг Павла!

— Мне нечего ему дать.

— Неправда! Вы говорили маме, что у вас куча денег. Вот и отдайте ему половину. Павел Александрович так бы и поступил.

Павел — и Иисус тоже!

— Ничего подобного я не говорил. Нет у меня никакой кучи.

— Давайте, давайте! — Нечаев, поблескивая глазами, хватает его за руку. Он снова слышит запах страха, источаемый молодым человеком.

Неистовый, но напуганный, бедняга! Однако он сознательно не пускает жалость дальше порога.

— Нет, и решительно нет.

— Почему вы такой *скареда?* — выпаливает Матрена со всей презрительностью, на какую способна.

— Я вовсе не скареда.

— Конечно, скареда! Вы и с Павлом скупились, а теперь друзьям его помочь не хотите! У вас полным-полно денег, да только вы их все для себя бережете. — Она поворачивается к Нечаеву: — Ему платят за его книги тысячи рублей, а он все оставляет себе! Правда-правда! Мне Павел рассказывал!

— Вздор! Павел ничего не смыслит в денежных делах.

— Нет не вздор! Павел заглядывал в ваш стол! Он видел ваши приходные книги!

— К черту Павла! Павел понятия не имел, как их читать, и видел лишь то, что хотел увидеть! Я годами сидел в долгах, каких ты и представить себе не способна! — Он поворачивается к Нечаеву: — Нелепейший разговор. Нет у меня для вас денег. И я считаю, что вам следует немедленно уйти отсюда.

Но Нечаев уже не спешит. Он даже улыбается.

— Разговор отнюдь не нелепый, — говорит он. — Напротив, весьма поучительный. Я давно питал подозрения насчет отцов, полагая, что истинный их грех, в котором они ни за что не признаются, — это скупость. Они ничем не желают делиться. А уж с мошной своей не расстанутся, даже когда для того наступит подходящее время. Кошелек — вот самое важное для них, а что там после случится, их ничуть не заботит. Я не верил рассказам вашего пасынка, потому как слышал, что вы игрок, и считал игроков людьми к деньгам равнодушными. Впрочем, и у игры есть своя оборотная сторона, не так ли? Мне следовало подумать об этом. Вы, видимо, из тех, кто играет потому, что для них любой выигрыш мал, им всегда подавай больше.

Обвинение смехотворное. Он вспоминает об Ане, экономящей на всем, чтобы накормить и одеть их дитя. Вспоминает свои перелицованные воротнички, дыры на носках. Вспоминает письма, которые пишет год за годом, выпрашивая задатки, полные самоуничижения письма к Страхову, Краевскому, Любимову и в особенности к Стелловскому. Dostoievski l'avare[8] — какая чушь!

---

[8] Примечания: 8
Скупец Достоевский (*фр.*).

Пошарив в карманах, он вытаскивает последние свои рубли.

— Вот все, что у меня есть! — восклицает он, взмахивая ими перед носом Нечаева.

Нечаев холодно смотрит на протянутую в его сторону руку и вдруг одним стремительным движением выхватывает деньги, все, кроме одной монетки, которая падает на пол и закатывается под кровать, куда за нею ныряет Матрена.

Он пытается отобрать деньги и даже борется с молодым человеком. Но Нечаев без затруднений одолевает его, одновременно запихивая деньги в карман.

— Постойте… постойте… постойте… — пыхтит Нечаев. — В глубине вашего сердца, Федор Михайлович, в глубине сердца вы хотели отдать их мне, я уверен, ради вашего сына.

И он отступает на шаг, оправляя одежду, как бы желая выставить ее напоказ во всем великолепии.

Какой позер! Какой ханжа! Народная расправа, как бы не так! И все же он не в силах отрицать, что в душу его прокрадывается радость, радость знакомая, радость проигравшего мужа. Разумеется, их нельзя не стыдиться — этих его приступов безрассудства. Разумеется, когда он возвращается

домой без копейки в кармане и признается во всем жене, и, склоняя голову, выслушивает ее упреки, и клянется, что никогда больше не оступится, разумеется, он искренен в эти минуты. Но в глуби сердечной, там, куда Бог один способен заглянуть, за искренностью кроется знание, что прав все же он, а не жена. Деньги существуют для того, чтобы их тратить, а существует ли трата более чистая, чем игра?

Матрена стоит, протянув руку. На ладони ее одиноко лежит последний пятак. Она, похоже, не очень уверена в том, кому его следует отдать. Он подталкивает руку Матрены к Нечаеву.

— Отдай, ему они нужнее.

Нечаев опускает монету в карман.

И хорошо. Кончено. Теперь его черед изображать оставшуюся без гроша добродетель, нечаевский же черед, поникнув главой, выслушивать обличения. Вот только что он может ему сказать? Ничего, решительно ничего.

Да Нечаеву и ждать особенно некогда. Он свертывает синее платье в узел.

— Спрячь где-нибудь, — приказывает он Матрене, — только не в квартире, где-нибудь еще.

Он протягивает ей и шляпку с париком, заправ-

ляет в нарядные черные ботинки обшлага брюк, накидывает плащ, с отсутствующим выражением постукивает себя пальцами по голове.

— Слишком много потратил времени, — бормочет он. — У вас нет?..

И, подхватив со стула меховую шапку, Нечаев направляется к двери. Затем, словно вспомнив о чем-то важном, возвращается.

— А любопытный вы человек, Федор Михайлович. Будь у вас дочь, я бы, пожалуй, женился на ней. Редчайших качеств была бы девица, не сомневаюсь. Что же до пасынка вашего, то он вот совсем на вас не походил. Я не уверен, что вы вообще представляли, как вам с ним дальше быть. В нем не было — как бы это сказать? — необходимых задатков. Таково мое мнение, а там уж как вам будет угодно.

— Каких же именно?

— Он слишком смахивал на святого. Вы правильно делаете, что жжете перед его портретом свечу.

Произнося это, он неторопливо проводит рукою над свечой, заставляя пламя затрепетать. Затем втыкает палец прямо в огонь и держит его там. Проходят секунды: одна, другая, третья, четвертая, пятая. Выражение лица его не меняется.

Возможно, он в трансе.

Наконец молодой человек отнимает руку.

— Вот чего ему не хватало. По правде сказать, он был просто неженкой.

Нечаев обнимает Матрену. Она безоглядно отзывается на ласку, приникая к его груди светлой головкой, отвечая объятием на объятие.

— Wachsam, wachsam! — многозначительно шепчет Нечаев и поверх ее головы указывает на него обожженным пальцем. И уходит.

Он не сразу постигает смысл этих странных слогов. И даже узнав слово, не понимает его. Бдительность: при чем здесь бдительность?

Матрена стоит у окна, вглядываясь в улицу. В глазах ее слезы, но она слишком взволнованна, чтобы грустить.

— Как вы думаете, он спасется? — спрашивает она и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Может быть, мне нужно было пойти с ним? Он мог бы изображать слепого, а я — поводыря.

Впрочем, и эта мысль недолго ее занимает. Он стоит близко от нее, за спиной. Почти стемнело уже, пошел снег, скоро мать ее вернется домой.

— Он тебе нравится?

— Угу.

— Беспокойная жизнь у него, верно?

— Угу.

Она почти не слушает. Соперничество решительно неравное! Куда ему тягаться с этими молодыми людьми, появляющимися неизвестно откуда и исчезающими неизвестно куда, веющими тайной и приключениями. И вправду беспокойная жизнь — а wachsam выпадает на долю ей.

— Почему он так тебе нравится, Матреша?

— Потому что он лучший друг Павла Александровича.

— Ты полагаешь? — мягко возражает он. — Я все же думаю, что лучшим другом Павла Александровича был я. Я и останусь ему другом, когда все остальные о нем забудут. Я его пожизненный друг.

Отворотясь от окна, она бросает на него странный взгляд, точно желая сказать что-то. Но что? «Вы Павлу Александровичу всего только отчим»? Или нечто совсем иное: «Не говорите со мной таким тоном»?

Отведя с лица прядь волос жестом, который, как он уже знает теперь, выражает у нее замешательство, она пытается поднырнуть под его рукой. Но он надежно преграждает ей путь.

— Я должна… — шепчет она, — должна спря-

тать одежду.

Он удерживает Матрену еще мгновение, желая, чтобы она почувствовала свое бессилие. Затем отступает в сторону.

— Брось ее в нужник, — говорит он. — Туда никто не заглянет.

Она морщит носик.

— Прямо вниз? — говорит она. — В…

— Да, именно туда. А еще того лучше отдай платье мне, а сама ложись. Я все сделаю.

Не для Нечаева, нет. Для тебя.

Он заворачивает узел в полотенце и, не оглядываясь, сходит вниз, к нужнику. Но на лестнице его посещает новая мысль. Одежда среди человеческих испражнений: а что, если он недооценивает возчиков нечистот?

Он замечает, что дворник глядит на него из окошка своей каморки, и, принимая вид человека, спешащего по делу, выскакивает на улицу. Тут он соображает, что вышел без пальто. Вновь поднимаясь по лестнице, он нос к носу сталкивается с Амалией Карловной, старухой, живущей на первом этаже. Она протягивает ему, точно гостю, тарелку, на которой лежат булочки с корицей.

— Добрый вечер, сударь, — церемонно произносит она.

Он бормочет приветствие и спешит проскользнуть мимо старухи.

Что ему нужно? Ямка, щель, в которой навсегда скроется этот узел, с такой внезапностью и с такой неотвязностью ставший *его* принадлежностью. Безо всякой на то причины он оказался вдруг в положении девки с мертворожденным младенцем на руках или убийцы с окровавленным топором. В нем снова разгорается гнев на Нечаева. «Почему я рискую собой ради тебя? — хочется ему крикнуть. — Тебя, до которого мне нет никакого дела?» Но кричать, похоже, поздно. В тот миг, как он принял узел из Матрениных рук, произошла смена постового, и обратного пути у него уже нет.

Одна из комнат в конце коридора стоит пустой, перед нею набросана груда всякого хлама вперемешку со штукатуркой. Носком ботинка он неуверенно ворошит этот сор. Работник перестает орудовать мастерком и подозрительно вглядывается в него через распахнутую дверь.

Спасибо и на том, что нет больше Иванова, чтобы следить за ним. Впрочем, весьма вероятно, что Иванову уже отыскалась замена. Кто может быть новым шпионом? Вот этот самый работник, которому приплачивают, чтобы он не спускал с

него глаз? Или дворник?

Запихав узел под сюртук, он снова выходит на улицу. Ветер, похожий на ледяную стену. Дойдя до первого угла, он сворачивает за него, потом еще раз. Вот и тупик, в котором он обнаружил собаку. Сегодня собака отсутствует. Может быть, околела в ту ночь, когда он ее здесь оставил?

Он заталкивает узел в уголок поукромнее. Приколотые к шляпке пряди парика развеваются по ветру, комичные и одновременно зловещие. Где раздобыл их Нечаев — у одной из своих «сестер»? И сколько у него этих сестричек, сгорающих от желания отхватить ради него свои девичьи локоны?

Вытащив булавки, он тщетно пытается разодрать шляпку надвое, затем сминает ее и затискивает в трубу водостока, к которой была привязана собака. То же он пытается сделать и с платьем, но труба слишком узка.

Внезапно он ощущает чей-то впившийся ему в спину взгляд. Оборачивается. Из окошка второго этажа на него как зачарованные глядят двое детишек, а за ними маячит кто-то еще, повыше.

Он пытается вытянуть шляпку из трубы, но не может достать до нее. Чертова глупость! Труба теперь забита, желоб переполнится, кто-нибудь

полезет выяснять, в чем причина, и обнаружит шляпку. А кто стал бы запихивать шляпку в трубу, как не человек, повинный в преступлении?

Он вновь вспоминает Иванова — Иванова, которого называли Ивановым так часто, что имя это нахлобучилось на него, точно шляпа на голову. Иванова убили. Правда, шляпы Иванов не носил, во всяком случае женской. Стало быть, с Ивановым эту шляпку связать не удастся. С другой стороны, разве она не могла принадлежать убийце? Женщине убить мужчину проще простого: довольно завлечь его в проулок, позволить прижать себя к стене, а затем в самую восторженную минуту нащупать нужное ребро и пронзить сердце шляпной булавкой — булавкой, не оставляющей крови, оставляющей вместо раны лишь малую точку.

Он опускается на колени в углу, где побросал булавки, но темень стоит уже такая, что отыскать их невозможно. Нужна свеча. Да только где он возьмет свечу, которая не загаснет на этом ветру?

Устал он до того, что не находит в себе сил, чтобы встать. Не занемог ли он, часом? Не заразился ли чем от Матрены? Или просто близится новый припадок? И эта полная изнуренность — его

предвестье?

Стоя на четвереньках, подняв голову и внюхиваясь, точно дикий зверь, в воздух, он пытается сосредоточиться на том, что происходит внутри его. Но если то, что овладевает им, припадок, то он овладел и чувствами тоже. Чувства его застыли совершенно так же, как руки.

14
Полиция

Ключа он с собой не взял, приходится стучать в дверь. Анна Сергеевна открывает и глядит на него в изумлении.

— Вы опоздали на поезд? — спрашивает она. Тут она замечает его нелепый вид — трясущиеся руки, капли воды в бороде. — Что-нибудь случилось? Вы заболели?

— Не заболел, нет. Я отложил мой отъезд. Потом все объясню.

В комнате у постели Матрены стоит незнакомый ему человек, видимо, доктор, — молодой, чисто, на немецкий манер, выбритый. В руке у него коричневый пузырек из аптеки: доктор подносит пузырек к носу и с неодобрительным выражением закупоривает. Затем щелкает замком саквояжа, задергивает занавесь алькова.

— Я говорил тут, что у вашей дочери воспалены бронхи, — сообщает доктор, обращаясь к нему. — Но в легких чисто. Помимо того…

Он перебивает доктора:

— Она не дочь мне. Я всего лишь жилец.

Недовольно пожав плечами, доктор поворачивается к Анне Сергеевне.

— Помимо того — я пренебрег бы долгом моим, не высказав этого, — присутствует некоторый истерический элемент.

— Что это значит?

— Это значит, что, пока она пребывает в нынешнем своем растревоженном состоянии, быстрой поправки ожидать невозможно. Возбуждение девочки есть часть ее расстройства. Необходимо как-то ее успокоить. Как только этого удастся достигнуть, она через несколько дней возвратится в школу. Телесно девочка здорова, конституция крепкая. Поэтому в качестве лечения я рекомендовал бы прежде всего покой, тишину и покой. Девочке следует оставаться в постели, пищу употреблять легкую. Молоко старайтесь не давать ни в каком виде. Я вам оставлю втирание для груди и снотворную микстуру, которую будете давать ей, когда потребуется, в качестве успокаивающего. Но помните, только детскую дозу — половину чайной ложки.

Едва доктор уходит, он пытается объясниться с Анной Сергеевной. Но та не в настроении выслушивать объяснения.

— Матреша сказала, что вы на нее накрича-

ли, — напряженным шепотом обрывает она его. — Это непозволительно!

— Неправда! Я вовсе не кричал на нее! — Он уверен, что, хоть разговор и ведется шепотом, Матрена слышит их сквозь занавеску и безмолвно злорадствует. Он берет Анну Сергеевну за руку, тянет ее в свою комнату, закрывает дверь. — Вы слышали, что сказал доктор, — она перевозбуждена. Она рассказала вам все, что случилось здесь утром?

— Она сказала, что заходил друг Павла и что вы были с ним очень грубы. Вы об этом говорите?

— Да, но…

— Позвольте мне закончить. Что происходит между вами и друзьями Павла, меня не касается. Но вы сорвали злость на Матреше, вы были с нею грубы. Я не могу допустить этого.

— Друг, о котором она говорила, это Нечаев, сам Нечаев, не кто иной, как Нечаев. Она упомянула об этом? Нечаев, бегущий от правосудия, был сегодня здесь, в вашей квартире. Как же можете вы винить меня за то, что я рассердился на нее, впустившую этого фигляра, лицемера и затем принявшую его сторону против меня?

— Тем не менее вы не имели права вести себя с нею несдержанно! Как может она знать, что

Нечаев дурной человек? Как я могу знать это? Вы говорите, что он фигляр. А сами вы? Сами вы как себя ведете? Вы разве никогда не кривите душой? Сомневаюсь.

— Вы не вправе так говорить. Я душой не кривлю. В прошлом это случалось, но не теперь — только не теперь. Я говорю вам правду.

— Теперь? Что же вдруг изменилось теперь? Почему я должна вам верить? Почему вы сами себе верите?

— Потому что не хочу, чтобы Павлу стало стыдно за меня.

— Павлу? Павел тут совершенно ни при чем.

— Я не хочу, чтобы Павел стыдился отца — теперь, когда он все видит. Вот это и переменилось: ныне существует мера всех вещей, включая и истину, и эта мера — Павел. Что до несдержанности моей с Матреной, я виноват. Я сожалею о ней и перед Матреною извинюсь. Впрочем, как вы, верно, знаете, — он разводит руками, — Матрена меня не выносит.

— Она не понимает, что вы здесь делаете, вот и все. Почему Павел жил у нас, она понимала — у нас и прежде стояли студенты, — но жилец постарше — это совсем другое. Да и я тоже перестаю понимать вас. Я не хочу вас выгонять,

Федор Михайлович, но должна вам признаться: когда вы сказали вчера, что уезжаете, я испытала облегчение. Четыре года мы вели с Матреной очень тихую, ровную жизнь. И никогда не позволяли жильцам нарушать наш покой. Теперь же, с самого дня смерти Павла, все у нас пошло кверху дном. Ребенку это не на пользу. Матрена не была бы больна сегодня, если бы обстановка в доме не стала столь непредсказуемой. Доктор правильно сказал — она растревожена, а тревога делает ребенка уязвимым.

Он ожидает, что Анна Сергеевна упомянет наконец о главной сути происходящего: Матрена знает об отношениях между ним и ее матерью и не находит себе места от ревности, ревности собственника. Но по-видимому, Анна еще не готова к тому, чтобы говорить об этом открыто.

— Простите меня за причиненные мною волнения, простите за все. Уехать сегодня, как я намеревался, для меня оказалось невозможным — не стану входить в причины, они несущественны. Я пробуду у вас еще день, самое большее два, пока друзья не ссудят мне денег. Затем я заплачу вам, что задолжал, и съеду.

— В Дрезден?

— В Дрезден или на другую квартиру, пока

сказать не могу.

— Что же, Федор Михайлович, очень хорошо. А относительно денег, давайте сочтемся немедля, не откладывая. Я не хочу попасть в длинный список людей, которым вы задолжали.

В гневе ее присутствует нечто для него непонятное. Никогда прежде она не говорила с ним столь оскорбительным тоном.

Он сразу садится писать записку Майкову. «Вы удивитесь, дорогой Аполлон Григорьевич, услышав, что я еще в Петербурге. Я снова вынужден, в последний, надеюсь, раз, прибегать к доброте Вашей. Беда в том, что я попал здесь в обстоятельства столь стесненные, что не имею средств расплатиться за жилье, не говоря уж о возвращении к семье, — остается разве пальто заложить. Двести рублей были бы для меня сущим спасением».

Он пишет и к жене: «Я совершил глупость, позволив другу Павла занять у меня денег. Майкову придется снова меня выручать. Телеграфирую, как только смогу все уладить».

Стало быть, винить в который раз остается только щедрое Федино сердце. Хоть, честно говоря, никакой щедрости в Федином сердце нет. В Федином сердце…

Кто-то с силой стучит в дверь квартиры. Прежде чем Анна Сергеевна успевает открыть, он оказывается с ней рядом.

— Это, должно быть, полиция, — шепчет он, — только она приходит в такой час. Позвольте мне говорить с ними. Останьтесь с Матреной. Главное, чтобы они не задавали ей вопросов.

Он открывает дверь. На пороге стоит чухонка, по бокам от нее двое полицейских в синих мундирах. Один из них офицер.

— Этот? — спрашивает офицер.

Чухонка кивает.

Он отступает, и полицейские входят, подталкивая девушку перед собой. Его поражают происшедшие в ней перемены. Лицо чухонки бело как мел, и движется она, точно кукла со связанными конечностями.

— Не угодно ли вам пройти в мою комнату? — спрашивает он. — Здесь больной ребенок, которого нельзя беспокоить.

Офицер размашистым шагом пересекает комнату и отдергивает занавеску. Глазам их предстает склонившаяся над дочерью Анна Сергеевна. Она резко оборачивается, глаза ее пылают.

— Оставьте нас в покое! — свистящим шепотом произносит она.

Офицер медленно задергивает занавеску.

Он уводит их в свою комнату. Что-то знакомое чудится в том, как чухонка шаркает ногами. Не сразу замечает он кандалы на ее ногах.

Офицер разглядывает дагерротип Павла, цветы, свечу.

— Кто это?

— Мой сын.

Что-то не так, что-то изменилось в самодельном алтаре. И когда он понимает *что*, кровь застывает в его жилах.

Начинается допрос.

— Появлялся ли здесь сегодня человек по имени Сергей Нечаев?

— Да, здесь был человек, который, как я склонен полагать, является Сергеем Нечаевым, хоть он и принял другое имя.

— Какое именно?

— Женское. Он переодевается женщиной. На нем был темный плащ поверх темно-синего платья.

— Зачем он к вам приходил?

— Просить денег.

— Не для иной причины?

— Насколько могу судить, иных причин не имелось. Я не принадлежу к числу друзей его.

— Вы дали ему денег?

— Отказал. Тем не менее он забрал все, что у меня было, и помешать ему я не смог.

— То есть вы утверждаете, что он вас ограбил?

— Он взял деньги против моей воли. Попытку вернуть их себе я счел неблагоразумной. Если угодно, назовите это ограблением.

— Сколько было денег?

— Около тридцати рублей.

— Что здесь еще произошло?

Он решается бросить взгляд на чухонку. Губы ее беззвучно подрагивают. Что бы они там ни делали с нею, пока она была в их руках, но сделанное полностью изменило ее повадку. Она стоит точно скотина на бойне, ожидающая топора.

— Мы говорили о моем сыне. Нечаев был, в некотором роде, другом моего сына. Оттого ему этот дом и известен. Сын занимал здесь комнату. Иначе Нечаев сюда не пришел бы.

— Что значит «иначе Нечаев сюда не пришел бы»? Вы хотите уверить нас, что он намеревался встретиться с вашим сыном?

— О нет. Навряд ли у кого из друзей моего сына осталась надежда встретиться с ним. Я хотел сказать другое: Нечаев явился сюда не потому, что рассчитывал на мое расположение, но по

причине прежней дружбы с сыном моим.

— Да, о преступных связях вашего сына нам известно.

Он пожимает плечами.

— Быть может, не столь уж и преступных. И быть может, не о связях, но только о дружбе. Однако оставим это. Решение этого вопроса суду уже не подлежит.

— Известно ли вам, куда направился отсюда Нечаев?

— Не имею представления.

— Покажите ваши документы.

Он вручает офицеру паспорт — свой, не исаевский. Офицер прячет паспорт в карман и надевает фуражку.

— Вам надлежит явиться завтра утром в участок на Садовой и дать полные показания. В дальнейшем будете являться в тот же участок каждодневно перед полуднем, вплоть до последующих распоряжений. Петербург покидать запрещается. Вам все ясно?

— И на чей же счет я буду здесь жить?

— Это меня не касается.

Он делает своему спутнику знак вывести арестованную. И уже у дверей квартиры чухонка, так и не произнесшая до этой минуты ни слова,

вдруг начинает артачиться.

— Я проголодалась! — жалобно произносит она и, когда полицейский хватает ее за руку, чтобы насильно вывести из дверей, упирается ногами в пол и цепляется за косяк. — Я проголодалась, дайте мне какой-нибудь еды!

Нечто стонущее, отчаянное слышится в ее крике. И хоть Анна Сергеевна стоит к чухонке ближе всех, просьба ее, несомненно, обращена к Матрене, которая уже вылезла из постели и стоит, сунув в рот большой палец и наблюдая происходящее.

— Я принесу! — говорит Матрена и стремглав кидается к буфету.

Она возвращается с краюхой черного хлеба и огурцом, принесла она и свой кошелечек.

— Берите все! — возбужденно выпаливает она и сует в руки чухонки еду вместе с деньгами. Затем отступает назад и, вскинув голову, приседает в странном старомодном реверансе.

— Никаких денег! — протестует полицейский, заставляя девочку взять деньги назад.

Ни слова благодарности от чухонки, которая после мгновенной вспышки непокорства снова впадает в оцепенение. Как будто из нее выбили всю ее живость, думает он. Действительно ли

они били ее — или учинили нечто похуже? И Матрена как-то догадалась об этом? В том-то и кроется причина ее жалости? Но что может знать ребенок о подобных вещах?

Как только полицейские уходят, он возвращается к себе, задувает свечу, составляет ее вместе с иконами и портретами на пол и снимает расстеленный поверх туалетного столика трехполосый флаг. Затем возвращается в соседнюю комнату. Анна Сергеевна сидит около Матрены с шитьем. Он швыряет флаг на постель.

— Если я стану сейчас разговаривать с вашей дочерью, я определенно вспылю снова, — произносит он, — а потому спросите ее от моего имени, как это попало в мою комнату.

— О чем вы? Что это такое?

— Спросите у нее.

Анна Сергеевна расправляет флаг на постели. В нем около метра длины, очевидно, им немало попользовались, ибо краски — белая, красная и черная вертикальные полосы равной ширины — потускнели и выцвели. Где они им размахивали — в комнатушке над заведением Madame la Fay?

— Чей это флаг? — спрашивает Анна Сергеевна.

Он молчит, ожидая ответа девочки.

— Народный. Флаг народа, — неохотно отвечает она наконец.

— Ну, довольно, — говорит Анна Сергеевна и целует дочь в лоб. — Спать пора.

И она задергивает занавесь, не оставляя ни щелки.

Пять минут спустя Анна Сергеевна заходит к нему со сложенным в несколько раз флагом в руках.

— Извольте объясниться, — говорит она.

— Вы держите в руках флаг «Народной расправы». Флаг мятежа. Если вам угодно узнать, что означает каждый из этих цветов, могу объяснить. Или спросите Матрену, уверен, она это тоже знает. Я и вообразить не могу поступка более дерзкого и обличающего, нежели выставление этого флага напоказ. Матрена в мое отсутствие расстелила флаг у меня в комнате, где его могли увидеть полицейские. Уж не помешалась ли она?

— Не смейте так о ней говорить! Откуда ей было знать, что придет полиция? А флаг — если это такая опасная вещь, — я просто сожгу его сию же минуту.

— Сожжете? — изумленно спрашивает он. Как просто! Почему он не сжег синее платье?

— И позвольте сказать вам еще одно, — добавляет она, — этим все и должно закончиться, навсегда. Вы втягиваете Матрену в дела, которыми ребенку заниматься не пристало.

— Более чем согласен. Однако втягиваю ее не я. Нечаев.

— Не вижу разницы. Не будь здесь вас, не было бы и Нечаева.

15
Подполье

За ночь высыпал снег. При выходе на улицу его ослепляет внезапная белизна. Он застывает на месте, опускает лицо, охваченный ощущением, что мир перед ним закружился, и закружился странно — не слева направо, но сверху вниз. Он чувствует, что если сделает хотя бы шаг, то непременно повалится.

Все это может быть только прелюдией припадка. Припадок вот уж несколько дней как возвещает о своей близости — приступами головокружения и сердцебиения, утомления и раздражительности, — возвещает, но не приходит. Если, конечно, не считать припадком состояние, в котором он пребывает последнее время.

Стоя у подъезда шестьдесят третьего нумера, он, занятый тем, что творится внутри его, ничего вокруг не видит и не слышит, пока кто-то не берет его с силой за руку. Вздрогнув, он открывает глаза. Перед ним стоит Нечаев.

Нечаев, оскаливая зубы, ухмыляется. Карбун-

кулы его полиловели от холода. Он пытается высвободиться, но Нечаев лишь ухватывает его руку покрепче.

— Нелепая бравада, — говорит он. — Вам следовало бы покинуть Петербург, пока еще есть возможность. Здесь вас схватят наверно.

Нечаев разворачивает его, держа одной рукой за плечо, а другой за запястье. Они идут по Свечной бок о бок, точно упирающаяся собака с хозяином.

— Впрочем, вам, вероятно, и хочется в душе, чтобы вас схватили.

На Нечаеве черный треух, уши которого взлетают, когда он трясет головой. Он произносит нарочито терпеливым, напевным тоном:

— Вы вечно приписываете людям превратные побуждения. А люди вовсе не таковы. Ну подумайте сами, зачем мне желать поимки и тюрьмы? И кому, кроме того, придет мысль приглядываться к паре вроде нас с вами, к отцу и сыну на прогулке? — И Нечаев обращает к нему лицо, украшенное самой что ни на есть добродушной улыбкой.

Они достигают конца Свечной, Нечаев легким нажимом плеча указывает, что следует повернуть направо.

— Вы хоть отдаленно представляете себе, что приходится сейчас выносить вашей подруге?

— Подруге? Вы про чухонку? Она не сломается, я в ней уверен.

— Вы заговорили бы по-другому, если б ее увидели.

— А вы ее видели?

— Полицейские приводили ее в дом, чтобы она указала им на меня.

— Ну и пусть, я за нее не боюсь, она отважна и долг свой знает. Успела она перемолвиться с дочерью вашей хозяйки?

— С Матреной? О чем?

— Да ни о чем, так просто. Она любит детей. Она ведь и сама ребенок — очень простодушный и очень прямой.

— Меня допрашивала полиция. И еще будет допрашивать. Я ничего не утаил. Я и впредь утаивать не собираюсь. Предупреждаю, использовать Павла как орудие против меня я вам не позволю.

— Зачем же мне использовать против вас Павла? Я самого вас могу использовать.

Они уже добрались до Садовой, до сердца Сенного рынка. Он упирается и встает, не желая двигаться дальше.

— Вы дали Павлу список людей, которых хотите

убить, — говорит он.

— Мы с вами уже разговаривали об этом списке — неужто не помните? Это всего лишь один из многих. Списков существует немало и в немалом числе экземпляров.

— Я не о том вас спрашиваю. Я хочу знать…

Нечаев, откинув назад голову, хохочет. Облако пара вырывается из его рта.

— Так вы хотите узнать, состоите ли вы в одном из них?

— Я хочу узнать, не потому ли Павел отпал от вас — понял, что я намечен в жертвы, и отказался иметь с вами дело?

— Нелепая мысль, Федор Михайлович! Ни в каких списках вас, разумеется, нет! Вы слишком ценный человек. Да к тому же, это между нами, совершенно не важно, чьи имена там значатся. Важно, чтобы *они* знали: их ожидает возмездие, — чтобы у них поджилки тряслись. Такие вещи народу понятны, он их одобряет. А отдельные лица ему ничуть не интересны. Народ страдал с незапамятных времен и теперь требует, чтобы страдали, в свой черед, и *они.* Так что не беспокойтесь. Ваше время еще не пришло. На самом-то деле мы были бы рады работать вместе с такими людьми, как вы.

— С такими, как я? Это что же за люди такие? Уж вы не ждете ли, что я стану писать для вас прокламации?

— Разумеется, нет. Для прокламаций ваш талант не подходит, для них вы слишком чистосердечны. Идемте, что же на месте стоять. Я хочу отвести вас кое-куда. Заронить в вас, так сказать, семя.

Нечаев снова берет его за руку, и они продолжают поход по Свечной. Навстречу движутся двое офицеров в оливковых драгунских шинелях. Нечаев уступает офицерам дорогу, приподымая в веселом приветствии руку. Офицеры отвечают кивками.

— Я прочел ваш роман «Преступление и наказание», — возобновляет беседу Нечаев. — Он-то меня и вразумил. Превосходная книга. По временам она меня даже пугала. Болезнь Раскольникова и тому подобное. Вам наверняка довелось выслушать немало похвал. Но я все равно скажу…

Нечаев прижимает руку к груди, а затем, словно вырывая сердце, выбрасывает ее перед собою. Похоже, нелепость жеста удивляет его самого, ибо лицо Нечаева заливает краска.

Это — первое, сколько он может припомнить, не рассчитанное заранее, — движение Нечаева

его удивляет. Девственная душа, думает он, не понимающая толком собственного волнения. Как оживающее творение доктора Франкенштейна. Впервые за все это время он ощущает прилив сострадания к этому озлобленному, невзрачному юноше.

Теперь они в самом чреве Сенного рынка. Нечаев ведет его узкими улочками, загроможденными лотками мелочных торговцев и какими-то бочками, сквозь толчею, сквозь зловоние немытых тел.

Они останавливаются у двери одного из домов. Нечаев извлекает из кармана синий шерстяной шарф.

— Мне придется попросить у вас дозволения завязать вам глаза, — говорит он.

— Куда вы меня ведете?

— Туда, где я теперь обитаю, — к народу. Что до повязки, так будет проще для нас обоих. Вы сможете после со спокойной душой заявить, что не знаете, где меня искать.

Закрывшая глаза повязка вновь позволяет ему насладиться роскошью головокружения. Нечаев ведет его, он натыкается на каких-то встречных и получает от них толчки, один раз он, запнувшись, падает, и Нечаев помогает ему подняться.

Они сворачивают с улицы во двор. Из близкого кабака доносятся пение, гитарный звон, веселые крики. Пахнет помоями и рыбьими потрохами.

Рука его ложится на перила.

— Шагайте осторожнее, — произносит голос Нечаева, — тут такая темень, что, даже сними я повязку, вы все равно ничего не увидите.

Приволакивая, точно старик, ноги, он сходит по ступеням. Воздух промозгл и недвижен. Где-то неспешно каплет вода. Совсем как в пещере.

— Ну вот, — говорит Нечаев, — голову побе-регите.

Пришли. Он стягивает повязку. Они с Нечаевым стоят внизу темной деревянной лестницы, перед закрытой дверью. Нечаев стучит четыре раза, потом три. Они ждут. Ни звука, только вода все капает, капает. Нечаев повторяет условный стук. Ответа нет.

— Придется подождать, — говорит Нечаев. — Идемте.

Он стукает в дверь по другую сторону лестницы, толкает ее и отступает, пропуская гостя вперед.

Они в подполье, столь низком, что ему приходится держать голову наклоненной, освещаемом лишь затянутым бумагой оконцем под самым потолком. Голый каменный пол — стоя на нем,

он чувствует пронизывающий подошвы холод. Вдоль стен тянутся по полу какие-то трубы. Пахнет сырой штукатуркой, мокрым кирпичом. Кажется, будто по стене тонкой пленкой стекает вода, хотя этого, конечно, быть не может.

Вдоль дальней стены подвала натянута веревка с перекинутым через нее свежевымытым тряпьем, таким же сырым и серым, как само это помещение. Под веревкой стоит лежак, на котором в одинаковых позах — спинами к стене, подтянув к подбородкам колени и обняв их руками, — сидят трое детей, босых, в холщовых рубахах. Самая из них старшая — девочка. Волосы ее сальны, нечесаны, верхнюю губу покрывает слизь, которую она апатично сглатывает, собирая языком. Из двух других один в том возрасте, когда ребенок еще только-только начинает ходить. Дети не двигаются, не издают ни звука. Просто глядят на вошедших слезящимися, лишенными любопытства глазами.

Нечаев зажигает свечу, ставит ее в стенную нишу.

— Это здесь вы живете?

— Нет. А впрочем, какая разница?

Нечаев начинает прохаживаться по комнате взад-вперед. У него вновь возникает мысль о за-

пертом в клетку сгустке энергии. Он представляет себе Павла, вышагивающего рядом с Нечаевым. Нет, Павел двигался иначе. Нетрудно теперь понять, почему Павел выбрал его в руководители.

— Позвольте я объясню, зачем я привел вас сюда, Федор Михайлович, — начинает Нечаев. — В комнате за той дверью стоит печатный станок — ручной. Разумеется, нелегальный. Идиот, у которого хранится ключ, к сожалению, отсутствует, хоть он и обещал быть на месте. Я предлагаю вам воспользоваться этим станком, прежде чем вы покинете Петербург. Все, что вы пожелаете сказать, разойдется за несколько часов в тысячах экземпляров. В такое время, как наше, время, когда мы стоим на пороге великих событий, любой ваш вклад способен оказать громадное воздействие. Имя ваше пользуется уважением, в особенности у студентов. *Если* вы от собственного имени расскажете о том, как расстался с жизнью ваш приемный сын, студенты неминуемо выйдут на улицы, хотя бы только из возмущения.

Нечаев останавливается прямо перед ним.

— Я сожалею о смерти Павла Исаева. Он был хорошим товарищем. Но мы не вправе смотреть только в прошлое. Мы обязаны воспользоваться его смертью, чтобы разжечь пламя. Он бы со

мной согласился. Он настоял бы на том, чтобы вы нашли для вашего гнева достойное применение.

Еще не закончив, Нечаев, видимо, понимает, что хватил лишку, и неуклюже поправляется:

— Для вашего гнева и вашего горя, хотел я сказать. Чтобы не получилось, что Павел умер впустую.

Разжечь пламя — это уж чересчур. Он поворачивается, чтобы уйти. Но Нечаев вцепляется в его руку.

— Вы не можете так уйти! — говорит он сквозь стиснутые зубы. — Неужели вы способны бросить Россию и вернуться к презренному буржуазному существованию? Способны игнорировать это зрелище, — он обводит рукою подвал, — зрелище, тысячи, миллионы подобий которого можно увидеть по всей стране? Что с вами стало? Или в вас угасла последняя искра? И вы не видите того, что лезет вам в глаза?

Он поворачивается, оглядывая сырое подполье. Что он видит? Трех замерзших, изголодавшихся детишек в ожидании ангела смерти.

— Я вижу не хуже вашего, — говорит он. — Лучше.

— Нет! Вы думаете, будто видите, и не видите! Чтобы видеть, одних глаз недостаточно, нужно

еще правильно понимать то, что видишь. Вы видите только жалкую материальную обстановку этого подвала, жизнь в котором даже крыса с тараканом сочли бы проклятием. Вы видите страдания трех голодных детей, а если подождете немного, то увидите и мать их, которой приходится, чтобы принести им корку хлеба, торговать собою на улице. Вы видите, как приходится жить беднейшим из обездоленных бедняков Петербурга. Но это не настоящее ви́дение, это всего лишь деталь картины! Вы не способны распознать силы, которые определяют жизнь этих несчастных! Силы — вот чего вам никак не удается увидеть!

Нечаев пальцем проводит снизу вверх линию по стене (он наклоняется к самому полу, кончик пальца его покрывается влагой), через тусклое оконце, к небесам.

— Линии завершаются здесь, но где, по-вашему, они начинаются? Они начинаются в министерствах, в казначействах, на биржах, в коммерческих банках. Они начинаются в канцеляриях Европы. Оттуда идут силовые линии, оттуда они расходятся по всем направлениям, чтобы завершиться в подвалах, подобных этому, в жалких подпольных жизнях. Если вы напишете об *этом*, вы воистину пробудите мир. Хотя, конечно, — он

издает горький смешок, — если вы напишете об этом, вам все равно не позволят напечатать написанное. Они позволяют вам писать сколько душе угодно о безмолвных страданиях бедняков и даже аплодируют вам, но опубликовать настоящую правду они не позволят никогда! Вот почему я предлагаю вам наш станок. Начните! Расскажите им о вашем приемном сыне, о том, почему он был принесен в жертву.

«Принесен в жертву». Возможно, мысли его слишком спутались, возможно, он просто устал, во всяком случае, ему не удается понять, кто и как принес Павла в жертву. Да и пылкая речь относительно линий нимало его не тронула.

— Я вижу то, что вижу, — холодно говорит он. — Линий не вижу никаких.

— Ну, значит, я мог бы и не снимать повязку с ваших глаз! Неужели я еще должен вам уроки давать? Вас напугал уродливый лик голода, болезни и нищеты. Но враги наши — не голод, болезнь и нищета. Это лишь способы, которыми проявляют себя в мире *реальные* силы. Голод не сила, это среда обитания, такая же, как вода. Бедняки живут в голоде, как рыба в воде. Настоящие силы зарождаются в центрах власти, в происходящем там столкновении интересов. Вас пугает, что вы

могли попасть в наши списки. Заверяю вас еще раз, клянусь вам, там вас нет. В наших списках поименованы лишь пауки и кровососы, сидящие в центрах своих паутин. Как только пауки и кровососы будут уничтожены, дети, подобные этим, получат свободу. По всей России дети смогут выйти из подвалов. Одежда, еда и жилище, достойное жилище, найдется для всякого. И работа — очень много работы! Прежде всего надлежит сровнять с землей банки, биржи, правительственные министерства — разрушить до основания, чтобы их никогда уж нельзя было отстроить.

Дети, поначалу, казалось, прислушивавшиеся к разговору, утратили к нему интерес. Самый маленький завалился набок и уснул на коленях сестры. Сестра моложе Матрены, но выглядит более подавленной и покорной, даже до странного. Начала ли уже и она говорить мужчинам «да»?

Что-то странное присутствует и в молчаливом бдении детей. С тех пор как они вошли сюда, Нечаев не обратил к ним ни единого слова, не показал даже, что знает их по именам. Кто они для него — олицетворение городской бедноты и не более? «Неужели я еще должен вам уроки давать?» Он вспоминает язвительное замечание княжны Оболенской о том, что Нечаев хотел стать школьным

учителем, но, не выдержав требуемого экзамена, подался, чтобы отомстить экзаменаторам, в революционеры. Быть может, по призванию своему Нечаев просто-напросто еще один педагог, подобно ментору его, Жан-Жаку?

И эти линии. Он так и не понял, что разумеет под ними Нечаев. Ему ли объяснять, что банкиры стяжают деньги, что алчность иссушает сердца их? Но Нечаев говорит о чем-то ином. О чем? О цепочках цифр, пробивающих бумагу в окне и хлещущих этих детей по пустым животам?

Голова опять начинает кружиться. «Давать уроки». Он набирает побольше воздуху в грудь.

— Есть у вас пять рублей?

Нечаев машинально ощупывает карман.

— Вот эта девочка… — Он поводит головой в сторону детей. — Отмойте ее как следует, причешите, приоденьте, и я отведу вас в одно заведение, в котором сегодня, прямо сегодняшней ночью, она сможет заработать для вас сто рублей на пять вложенного капитала. А если ее хорошо кормить, держать в чистоте, не слишком часто использовать и следить, чтобы она не заболела, она сможет отрабатывать ваши пять рублей по меньшей мере еще пять лет. С легкостью.

— Что?..

— Дослушайте. В подвалах Петербурга довольно детей, а на улицах его — господ с деньгами в карманах и тягой к детскому телу в душе, довольно, чтобы обеспечить достатком всю городскую бедноту. Требуется лишь трезвый расчет. На плечах этих детей можно вытащить к свету всех обитателей подвалов.

— В чем смысл этой омерзительной притчи?

— Это не притча. Я, как и вы, возмущен страданиями невинных. Я, кажется, понял вас наконец, Сергей Геннадиевич. Долгое время мне не удавалось заставить себя поверить, что сын мой мог стать вашим приверженцем. Теперь я начинаю понимать, что он в вас увидел. Вы рождены со стремлением к справедливости, и стремление это в вас еще не заглохло. Я уверен, что, если бы это дитя, вот эту самую девочку, завлек в глухой переулок какой-нибудь из наших петербургских развратников и если бы вы их застигли, если бы вы, к примеру, опекали ее, вы не задумываясь вонзили бы нож в спину мужчины, чтобы ее спасти. Или, по крайности, отомстить, коли спасать было б уж поздно. Это не притча, это рассказ о детях и о том, какое им можно найти применение. С помощью детей вы могли бы очистить улицы Петербурга от кровососов, возможно, даже от

кровососов-банкиров. А по прошествии времени можно было бы отправить своим чередом на улицы и жен почивших кровососов вместе с детьми их, способствуя тем самым торжеству всеобщего равенства.

— Вы свинья!

— Нет, мое место в этом рассказе иное. Я не свинья, не человек, вязнущий, будто свинья, в грязи переулка. Повторяю, это не притча, а рассказ. В рассказе речь может идти и о других людях, вы вовсе не обязаны непременно отыскивать в нем место и для себя. Но если чувство справедливости не позволяет вам оставлять без внимания страдания невинных детей, пусть даже детей из рассказа, есть немало иных способов наказать пауков, которые кормятся ими. Не нужно быть ребенком, к примеру, чтобы заманить мужчину в темный проулок. Достаточно лишь обрить голову, напудриться, облачиться в женское платье и постараться не выходить из тени на свет.

Нечаев улыбается, вернее, оскаливает зубы.

— Все это из какого-то вашего сочинения! Часть ваших извращенных выдумок!

— Возможно. Но у меня остался еще вопрос к вам. Если сегодня вы вольны наряжаться, как вам нравится, и быть тем, кем хотите, и руководиться

чувством справедливости (еще гнездящемся, я уверен, в сердце вашем), то что станется завтра, когда буря народного гнева сделает свое дело и все будут равны? Сохраните ли вы свободу быть тем, кем хотите? Получит ли каждый наконец эту свободу?

— В этом больше не будет необходимости.

— В нарядах? Даже по праздникам?

— Дурацкий разговор. Праздники тоже станут ненужными.

— То есть не будет ни праздников, ни выходных?

— Будут дни, отведенные для восстановления сил. Люди смогут сами решать, чего им хочется — отдыхать или поехать в деревню, чтобы помочь в уборке урожая.

— Да, о днях урожая я слышал. И мы, несомненно, будем петь во время работы. Однако вернемся к моему вопросу. Что будет со мной, какое место отводится в вашей утопии мне? Дозволят ли мне переодеться женщиной или молодым денди в белой паре, если меня постигнет такой каприз, или же я получу только одно имя, один адрес, один возраст, одно происхождение?

— Об этом не мне говорить. Народ даст вам ответ. Народ скажет, что дозволено, что нет.

— Да, но что бы *вы-то* сказали, Сергей Геннадиевич? Потому что если вы не принадлежите к народу, то какое же будущее вас ожидает? Сохраню ли я свободу изображать собой кого угодно, по собственному моему усмотрению, — молодого, скажем, человека, коротающего досуг, диктуя список людей, которые ему не по сердцу, и изобретающего для них кровавые кары, или кастеляна, обязанность которого — следить, чтобы в корзине под гильотиной всегда были свежие опилки? Хоть настолько-то я буду свободен? Или мне следует исходить из сказанного вами в Женеве — что с нас довольно Коперников и что, если объявится новый Коперник, ему надлежит выдавить глаза?

— Вы бредите. И вы не Коперник.

— Вы правы, я не Коперник. Когда я поднимаю глаза к небу, я вижу лишь звезды, которые смотрели на нас при нашем рождении и увидят нас умирающими, как бы ни изменяли мы наше обличье и в каком бы глубоком подполье ни укрывались.

— Я не прячусь, я просто слился с невидимками этого города, с условиями, которые меня породили. Хотя вам видеть эти условия не дано.

— Вы позволите мне говорить прямо? Сказанное вами — вздор. Я, быть может, не вижу в небе

линий и цифр, но я не слепец.

— Нет большего слепца, чем тот, кто не хочет видеть! Вы видите детей, голодающих в подвале, но не желаете видеть того, что определяет условия, в которых живут эти дети. Разве можно назвать это способностью видеть? Хотя, конечно, вы и люди, которые вам платят, кровно заинтересованы в голодных, изможденных детишках. Вы все любите читать о них — о детишках с запавшими глазами, кроткой душой и тоненькими голосками. Ну так разрешите мне сказать вам кое-что о голоде. Знаете ли вы, что видят в вас запавшие глаза этих детишек? Спросите у них! Да я и сам вам скажу. Они видят толстые щеки и сочный язык. Эти невинные крошки накинулись бы на вас, как крысы, и загрызли бы, если б не сознавали, что вы достаточно сильны, чтобы их расшвырять. Но вы предпочитаете не признавать этого. Вы предпочитаете видеть трех ангелочков, на малый срок посетивших землю.

Чем дольше я говорю с вами, Федор Михайлович, тем хуже понимаю, как вам удалось написать о Раскольникове. Раскольников был хотя бы живым человеком, пока его не свалила горячка или чем он там заболел. Знаете, кем вы мне представляетесь ныне? Старым ослеплен-

ным конем, ходящим и ходящим по кругу, день за днем разжевывая все одну и ту же историю. Какое право имеете вы говорить мне о переменах обличья? Вы не смогли бы изменить своего даже ради спасения собственной жизни. Вы всего-навсего иссохший старик, старая рабочая кляча, жизнь которой подходит к концу. Не пора ли вам хоть *попытаться* пожить одной жизнью с угнетенными, вместо того чтобы посиживать дома, да пописывать о них, да пересчитывать денежки? Впрочем, я вижу, вы начинаете нервничать. Вам не терпится воротиться домой и занести в записную книжку этот подвал и этих детей, пока они еще не потускнели в вашей памяти. Смотреть мне на вас тошно!

Нечаев умолкает, придвигается ближе, заглядывает ему в лицо.

— Или я слишком далеко зашел, Федор Михайлович? — сбавив тон, продолжает он. — Переступил границы дозволенного, обнаружив то, чего обнаруживать не следует, — что мы *видим вас насквозь*, все мы, включая и вашего пасынка? Разве я не в самую точку попал? — Он достает из кармана шарф. — Ну что же, снова наденем повязку?

В точку? Да, возможно. Не обвинениями, но го-

лосом, который слышен за ними: голосом Павла. Павла, жалующегося другу, который копит его слова, точно капли яда.

Он устало отстраняет шарф.

— В чем вы пытаетесь меня убедить? — спрашивает он. — Вы же не для того привели меня сюда, чтобы показать станок или голодных детишек. Все это одни лишь неловкие увертки. Что вам нужно от меня на самом-то деле? Вы хотите привести меня в такую ярость, чтобы я побежал и предал вас полиции? Почему вы не покинули Петербург? Вместо того чтобы сбежать, как поступил бы всякий разумный человек, вы изображаете Иисуса под Иерусалимом, дожидающегося осла, чтобы отправиться на нем прямиком в лапы своих палачей. Вы надеетесь, что я стану этим ослом? Воображаете себя принцем в изгнании, принцем и мучеником, ожидающим, когда его призовут? Вам хочется отнять Пасху у Иисуса. Вы уже второй раз искушаете меня, а я на искушения ваши не поддаюсь.

— Не уводите разговор в сторону! Мы говорим о России, не об Иисусе. И перестаньте переваливать всю вину на меня. Если вы и предадите меня, то лишь потому, что вы меня ненавидите.

— Я не питаю к вам ненависти. Не имею при-

чины.

— Еще как питаете! Вам не терпится разделаться со мной, потому что я показываю людям, что вы на деле собой представляете, вы и ваше поколение.

— И что же мы собой представляем, я и мое поколение?

— Это я вам скажу. Ваши дни миновали. Но вы, вместо того чтобы тихо сойти со сцены, норовите и весь мир сволочь за собой. Вам ненавистно то, что бразды правления перешли в руки людей помоложе и посильнее вашего, людей, намеренных усовершенствовать мир. Вот что вы собой представляете на самом-то деле. И не рассказывайте мне, что тоже были революционером, пошедшим в Сибирь за свои убеждения. Я точно знаю, что даже в Сибири с вами обходились как с человеком дворянского звания. Вы вовсе не разделяли страданий народа, это жульнический обман. Меня тошнит от вас, стариков! В день, когда мне исполнится тридцать пять, я пущу себе пулю в лоб, клянусь!

Последние слова Нечаев выпаливает с таким раздражением, что ему не удается сдержать улыбки. Да и сам Нечаев смущенно краснеет.

— Надеюсь, вам представится возможность

стать до того отцом и вы поймете, что значит пить из этой чаши.

— Я никогда не стану отцом, — бормочет Нечаев.

— Откуда ж вам знать? Не зарекайтесь. Все, что требуется от мужчины, — это посеять семя, а там уж оно начинает жить самостоятельной жизнью.

Нечаев решительно трясет головой. Что хочет сказать этот юноша? Что не сеет семени? Что принес обет целомудрия, как Иисус?

— Не зарекайтесь, — мягко повторяет он. — Семя становится сыном, принц — королем. Когда вы в один прекрасный день воссядете на троне (если до того не пустите себе пулю в лоб) и страна наполнится юными принцами, которые будут, таясь по подпольям и чердакам, злоумышлять против вас, что вы тогда сделаете? Пошлете солдат, чтобы те поотрывали им головы?

Нечаев вспыхивает.

— Вы пытаетесь разозлить меня дурацкими притчами. Я знаю, кем был *ваш* отец, Павел Исаев рассказывал мне: мелким тираном, которого все ненавидели и которого в конце концов убили собственные его крестьяне. Думаете, если вы с отцом питали друг к другу ненависть, так и вся

мировая история состоит не из чего иного, как из распрей между отцами и детьми? Вы не понимаете смысла революции. Революция есть конец всего устарелого, включая сюда и отцов с сыновьями. Конец наследования, конец династий. И если это подлинная революция, она обновляет сама себя постоянно. С каждым поколением старая революция отвергается, и история начинается заново. Вот *это* мысль новая, по-настоящему новая. Год Первый. Carte blanche. Все изобретается заново, все отменяется и перерождается: право, нравственность, семья — все. Все узники выходят на свободу, все преступления прощаются. Мысль эта столь велика, что вам ее не понять, ни вам, ни вашему поколению. А вернее сказать, вы понимаете ее слишком хорошо, так хорошо, что норовите придушить в колыбели.

— А деньги? Простив преступления, вы перераспределите деньги?

— Мы сделаем больше. Как можно чаще, причем выбирая момент, когда люди этого меньше всего ожидают, мы будем объявлять нынешние деньги утратившими ценность и печатать новые. Вот в чем промахнулись французы — они допустили хождение прежних денег. Французская революция не была революцией подлинной,

потому что французам недостало отваги довести ее до конца. Они уничтожили аристократов, но сохранили прежний способ мышления. Мы в наших школах станем обучать способу мышления, который был до сих пор под запретом. Все снова пойдут в школу, даже профессора. Крестьяне станут учителями, а профессора — учениками. И мы сотворим в наших школах новых мужчин и женщин. Каждый родится заново и с новой душой.

— А Бог? Что Бог скажет об этом?

Молодой человек заливается неподдельно веселым смехом.

— Бог? Бог преисполнится зависти к нам.

— Так вы, стало быть, веруете?

— Разумеется, веруем! Иначе какой бы смысл был во всем этом? Иначе довольно было бы просто пустить петуха, обратив мир в пепел. Нет, мы придем к Богу, и встанем пред престолом Его, и призовем Его к себе. И Он сойдет к нам! У Него не будет выбора, Ему придется нас слушать. И тогда все мы соединимся и станем наконец на равную ногу.

— Причитая и ангелов?

— Ангелы окружат нас, распевая осанну! Ангелы будут вне себя от радости. Они тоже получат свободу и смогут ходить по земле как обычные

люди.

— А души умерших?

— Вы задаете слишком много вопросов! Если угодно, Федор Михайлович, и души умерших тоже! Души умерших будут снова ходить по земле — и Павел Исаев с ними, коли желаете. То, на что мы способны, не имеет границ.

Какой шарлатан! И все же он уже не понимает теперь, кто из них берет верх — он ли играет с Нечаевым, Нечаев ли с ним. Как будто рухнули вдруг все запреты, запрет на слезы, запрет на смех. Если бы Анна Сергеевна была здесь, приходит незваная мысль, он смог бы сказать ей слова, которых ему так не хватало все это время.

Он делает шаг вперед и с силой, которая кажется ему великанской, прижимает Нечаева к груди. Обняв юношу, притиснув руки его к бокам, вдыхая кислый запашок его покрытой карбункулами плоти, плача, смеясь, он целует его в левую щеку и в правую. Бедро к бедру, грудь к груди стоит он, слившись с Нечаевым.

С лестницы слышатся шаги. Нечаев разрывает его объятия.

— Ну наконец-то! — восклицает он. В глазах его светится торжество.

Он оборачивается. В двери стоит женщина в

черном платье и несообразной с ним белой шляпке. В тусклом свете, глядя сквозь слезы, трудно назвать ее возраст.

Нечаев выглядит разочарованным.

— А! — произносит он. — Прощения просим! Входите!

Но женщина остается недвижной. Она держит под мышкой нечто, обернутое в белую тряпицу. У детей нюх острее, чем у него. Все разом, не промолвив ни слова, они сползают с лежака и проскальзывают мимо мужчин. Девочка стягивает тряпицу, и подвал наполняется запахом свежего хлеба. По-прежнему молча она отламывает куски и сует их братьям в руки. Прижавшись к подолу матери, все трое жуют, но глаза их все так же пусты. Словно животные, думает он, все они знают, откуда взялся хлеб, но им это безразлично.

16
Печатный станок

Он отвешивает женщине поклон. Из-под глупой шляпки на него с некоторой робостью глядит молодое веснушчатое лицо. Он испытывает быстрый промельк эротического любопытства, которое, впрочем, сразу сникает. Надо бы носить черный галстук или, на итальянский манер, черную повязку на рукаве, тогда положение его будет понятнее — в том числе и ему. Он больше не полноценный мужчина — ополовиненный. Сгодилась бы также медаль на лацкане с изображением Павла. Лучшую половину, которой еще предстояло развиться вполне, отняли.

— Мне нужно идти, — говорит он.

Нечаев отвечает презрительным взглядом.

— Идите, — отвечает он. — Никто вас не держит.

И, повернувшись к женщине:

— Он полагает, что я не знаю, куда он пойдет.

Последнее замечание представляется ему ни на чем не основанным.

— И куда же, по-вашему?

— Хотите, чтобы я сказал это вслух? Разве я не дал вам в руки возможность мне отомстить?

«Отомстить» — после всего происшедшего только что слово это производит впечатление брошенного ему в лицо свиного пузыря. Нечаевское слово. Нечаевский мир — мир расправы. Какое мне дело до его мира? И все же этот выпад не беспричинен. Возвращается воспоминание — Нечаев при первой их встрече: юбки, взлетевшие чуть не на спинку стула, когда Нечаев усаживался у окна, нажим ноги под столом, то, как он пытался использовать свое тело — бесстыдно, пусть и неловко. Вполне ли сознает этот мальчик свои желания или просто хватается за что ни попадя, желая посмотреть, куда его занесет? Он схож со мною, а я с ним, думает он, только мне не хватает его храбрости. И следом: потому Павел за ним и пошел — в надежде обрести отвагу? Потому и полез ночью на башню?

Он понимает все яснее: Нечаев не остановится, пока не окажется в лапах полиции, пока не испробует и это тоже. Дабы испытать отвагу свою и решимость. И Нечаев выдержит все — тут сомневаться не приходится. Его не сломить. Никакие побои и голод сдаться его не заставят, он даже не заболеет. Лишится всех зубов, но улыбаться будет

по-прежнему. Будет ползти по земле, волоча переломанные ноги, и рычать, могучий, как лев.

— Так вы *хотите*, чтобы я отомстил? *Хотите*, чтобы я вас предал полиции? К этому и сводились все ваши шарады с глазными повязками и лабиринтами?

Нечаев возбужденно хохочет, сознавая, что они теперь хорошо понимают друг друга.

— Зачем бы мне хотеть этого? — вкрадчиво отвечает он и искоса взглядывает на женщину, словно приглашая ее принять участие в розыгрыше. — Я не сбившийся с толка юнец вроде вашего пасынка. Если вы намереваетесь пойти в полицию, скажите об этом прямо. И не сентиментальничайте на мой счет, не делайте вид, будто вы мне не враг. Мне ваша сентиментальность известна. Не сомневаюсь, она очень вам помогает с женщинами. С женщинами и с маленькими девочками.

И, повернувшись к немой свидетельнице их разговора, Нечаев продолжает:

— Тебе ведь такие тоже знакомы, не правда ли? Мужчины, которые, причинив тебе боль, проливают слезы, чтобы умастить свою совесть да заодно и ощущения сделать поострее.

Для своего возраста Нечаев обладает на ред-

кость обширными сведениями. Подобные сыщешь не у всякой уличной женщины — вот что значит проницательный ум! Он знает жизнь. Павлу, верно, его познания пригодились. Грязный, колченогий мерзавец — как его звали, Карамзин? — вышел у него куда более живым, чем ходульный герой, сооруженный с явной натугой. Напрасно Павел прикончил его так скоро — большая ошибка.

— Я не имею намерения вас предавать, — устало отвечает он. — Поезжайте домой, к отцу. Имеется же и у вас отец — где-то в Иванове, если я правильно помню. Поезжайте, встаньте перед ним на колени и попросите, чтобы он вас укрыл. Он не откажет. Отцы способны на многое, если не на все.

Нечаев коротко фыркает. Спокойствия его как не бывало, он вновь принимается рыскать по подвалу, отпихивая подворачивающихся под ноги детей.

— Мой отец! Что вы знаете о моем отце? Я не дурачок, вроде вашего пасынка. Я не цепляюсь за людей, которые меня притесняют! Я ушел из отцовского дома в шестнадцать лет и никогда больше туда не заглядывал. Знаете почему? Потому что он меня бил. Я сказал ему: «Ударь

меня еще раз, и больше ты меня не увидишь». Ну так он ударил и больше меня не видел. Теперь я сам себе отец. Я сотворил себя заново. И чтобы укрыться, я ни в каком отце не нуждаюсь. Если я буду нуждаться в укрытии, меня укроет народ.

Говорите, отцы способны на многое? А известно ли вам, что отец показывает мои письма полиции? Я пишу к сестрам, а он выкрадывает мои письма, и снимает с них копии полиции на потребу, и *получает за это плату.* Вот на это он способен. Впрочем, хорошо уж и то, что отсюда видно, какое отчаяние испытывает полиция — раз она платит за подобные вещи, значит, ей только и остается, что хвататься за соломинку. Потому что никаких доказательств моей вины найти ей не удается — никаких!

Отчаяние. Отчаяние преданного человека, отчаяние человека, узнавшего, что это отец предал его.

— Быть может, полиция и не способна ничего доказать, но она знает, как знаем и мы с вами, что вы далеко не невинны. Вы ведь не просто списочек составили, вы пошли дальше, верно? У вас руки в крови, не так ли? Я не прошу вас исповедаться мне. И все же, в самом что ни на есть предположительном смысле, *зачем вы де-*

лаете это?

— В предположительном? Затем, что, если ты никого не убил, тебя и всерьез никто не примет. Это единственное идущее в счет доказательство основательности твоих намерений.

— Но для чего вам нужно, чтобы вас принимали всерьез? Почему не оставаться сколь можно дольше молодым и беспечным? Настанет еще и для серьезности время. И задумайтесь наконец о тех из ваших товарищей, кто послабее, кто совершает ошибку, доверяясь вам. Подумайте о вашей чухонской подруге, о том, что ей в итоге приходится сносить в самую эту минуту.

— Да хватит вам тянуть все одну и ту же волынку о моей так называемой чухонской подруге! О ней позаботились, она больше не испытывает страданий! И что вы мне предлагаете — ждать, когда я состарюсь и ко мне станут наконец относиться всерьез? Я уже насмотрелся на то, что происходит с вами, состарившимся. Когда я постарею, это буду не я, а другой человек.

Подобные речи он мог бы представить слетающими с уст Павла, но никак не Нечаева. Павел, Павел, какая потеря!

— Жаль, что мне не довелось увидеть вас с Павлом, — говорит он, не досказывая главного: вы

похожи на два меча, на два оголенных меча.

И однако ж, как умно предостерег его Нечаев от жалости! Ибо он совсем уж было проникся ею — жалостью к одинокому мальчику в бурном море, борющемуся и тонущему. Стало быть, он ошибся, усмотрев в угрюмости Нечаева (ибо Нечаев, как ни странно, примолк), в его задумчивом взгляде нечто напускное, в нем есть и иное качество — вероломство? Да и когда в последний раз мог человек довериться словам, будто бы идущим от сердца к сердцу? Нынче настал век действия, век обмана. Павел был слишком юн, слишком старомоден, чтобы преуспеть в этом веке. Герой и героиня его изъясняются на нелепом, запинающемся, устарелом языке души. «Я хочу… хочу…» — «Ты можешь… можешь…» И все же Павел хотя бы попытался перевоплотиться в другого человека. А Сергея Нечаева представить писателем невозможно. Эгоист, если не хуже. И любовник жалкий, это наверное. Без чувства, без сострадания. Незрелость чувств, остановка в росте, карлик. Человек будущего, грядущего века: чудовищный разум, чудовищный аппетит — и все. Замкнутый, одинокий. Настоящее его место — престол посреди голой комнаты. Престол идей. Римский папа идей, и идей прескучных. Бог да

спасет тогда верующих, Бог да спасет тех, над кем властвует он!

Мысли его перебивает какой-то лязг, долетающий с лестницы. Нечаев бросается к двери, прислушивается, выходит. Слышится гневный шепот, звук поворачиваемого в замке ключа, затем наступает тишина.

Женщина, так и не снявшая белой шляпки, сидит на краю лежанки, кормя младшего из детей грудью. Встретившись с ним взглядом, она краснеет, но тут же вызывающе вздергивает подбородок.

— Господин Ишутин сказал, что вы можете нам помочь, — произносит она.

— Господин Ишутин?

— Господин Ишутин, ваш друг.

— Не знаю, почему он так сказал. Ему мое положение известно.

— Нас выбросили на улицу, потому что нам нечем было платить за квартиру. То есть за нонешний месяц я деньги внесла, а за прошлые не смогла, не хватило.

Малыш отрывается от груди и начинает ерзать, стараясь высвободиться из рук матери. Женщина отпускает его, он сползает с ее колен и покидает комнату. Слышно, как он, негромко постанывая,

мочится под лестницей.

— Он вот уже несколько недель болеет, — жалуется женщина.

— Покажите мне вашу грудь.

Женщина расстегивает еще пуговку и обнажает обе груди. Сосцы стоят на холоде торчком. Она приподнимает их пальцами, несильно сжимает. Появляется капелька молока.

У него при себе пять рублей, занятых у Анны Сергеевны. Он отдает ей два. Она молча берет монеты, заворачивает их в носовой платок.

Возвращается Нечаев.

— А, вижу, Соня поведала вам о своих горестях, — говорит он. — Я подумал, что ваша хозяйка могла бы им как-то помочь. Она ведь женщина добрая, верно? Так говорил Исаев.

— И речи быть не может. Как я могу привести?..

Женщина — неужели ее и впрямь зовут Соней? — смущенно отводит взгляд. Платье ее из дешевой ткани в цветочек, для зимы решительно непригодной, застегнуто теперь на все пуговицы, до самой шеи. Ее уже начинает трясти от холода.

— Ну, об этом мы после поговорим, — обещает Нечаев. — Я должен показать вам станок.

— Станок ваш меня не интересует.

Однако Нечаев берет его за руку и, то подталкивая, то подволакивая, выводит из двери. И снова он удивляется своей покорности. Он точно впал в нравственную дрему. Что подумал бы Павел, увидев, как убийца его распоряжается отцом? Или это Павел, в сущности говоря, и ведет его? Печатный станок он узнает мгновенно — «Альбион-Бирмингем», брат печатал на таком же афишки и объявления. Какие уж там тысячи экземпляров — от силы две сотни в час.

— Источник энергии каждого автора, — произносит Нечаев, прихлопывая ладонью по станку. — Сегодня ваше заявление разойдется по подвалам, а завтра появится на улицах. Или же, коли желаете, мы попридержим его до времени, когда вы окажетесь за границей. И если вас станут упрекать за него, вам будет легко отпереться — скажете, что это подделка. Да оно к тому времени и не важно будет — дело-то уже сделается.

В комнате присутствует еще один человек, годами старший Нечаева, — сухопарый темноволосый мужчина с землистым лицом и тусклыми глазами, согнувшийся над наборным столиком, подпирая подбородок ладонями. Человек этот словно бы не обращает на вошедших внимания, да и Нечаев его не представляет.

— Мое заявление?

— Ну да, ваше заявление. Любое, какое вам будет угодно сделать. Хотите — напишите его прямо сейчас, меньше уйдет времени.

— Но что, если я захочу сказать правду?

— Даю вам слово, мы распространим все вами написанное.

— Правда может оказаться для вашего станка непосильной.

— Что ты к нему пристал? — подает голос мужчина, не отрывая глаз от лежащей перед ним рукописи. — Он же писатель, они так не работают.

— И как же они, по-твоему, работают?

— У писателей есть свои правила. Они не могут писать, если кто-то заглядывает им через плечо.

— Так пусть привыкают к новым правилам. Уединение — это роскошь, без которой вполне можно обойтись. Народ в уединении не нуждается.

Нечаев, получивший новую аудиторию, на глазах обретает прежний свой апломб. Его же начинает уже мутить от этих корявых провокаций.

— Мне нужно идти, — вновь говорит он.

— Не напишете сами, так мы за вас напишем.

— Как вы сказали? Напишете за меня?

— Да.

— И подпишете моим именем?

— И подпишем — выбора у нас нет.

— Ни один человек не примет написанного вами за чистую монету. Вам никто не поверит.

— Студенты поверят, я говорил уже — у вас немало поклонников среди студентов. В особенности среди тех, кто пытается думать самостоятельно, не читая толстенных книг. Студенты вообще способны поверить во что угодно.

— Да брось ты, Сергей Геннадиевич, — произносит мужчина. Судя по тону его, разговор не доставляет ему удовольствия. У него темные круги под глазами, он закуривает папиросу и нервно затягивается. — Чем тебе книги-то так уж не угодили? Да и студенты тоже?

— Того, что нельзя сказать на одной странице, говорить вообще не стоит! И затем, почему это одни люди купаются в роскоши и читают книги, в то время как другие читать и вовсе не умеют? Думаешь, у Сони, вон там, за дверью, есть время для чтения? А студенты твои слишком много болтают. Сидят часами, спорят и только силы попусту тратят. Университет — это место, в котором человека учат спорить, чтобы он после ничем уж другим и не занимался. Они вроде Самсона,

которому евреи отрезали волосы. Думают, будто им удастся улучшить своими разговорами мир. Им невдомек, что улучшить можно лишь то, что сначала ухудшилось.

Его товарищ зевает, и безразличие, выказанное этим зевком, похоже, выводит Нечаева из себя.

— Именно так! Потому нам и приходится подталкивать их. Если их оставить в покое, они непременно съедут к болтовне и препирательствам, а в итоге все пойдет прахом. Вот и пасынок ваш был таков же, Федор Михайлович, — все сплошь разговоры, и ничего больше. Страдающий народ не нуждается в разговорах, ему подавай действия. И задача наша — побудить студентов к действию. Если нам удастся спровоцировать их на решительные действия, можно будет считать, что бой мы наполовину выиграли. Разумеется, их могут раздавить, может подняться новая волна гонений, но это создаст лишь новые страдания, новый прилив гнева и новую потребность в действии. Именно так дело и делается. И опять же, если страдают немногие, то разве справедливость не требует, чтобы пострадали все? Да и события начнут ускоряться. Вы удивитесь, как быстро способна подвигаться история, если ее как следует подтолкнуть. Исторические циклы

будут все более сокращаться. Если мы начнем действовать сегодня, мы и оглянуться не успеем, как уже окажемся в будущем.

— Стало быть, подлог позволителен? Все позволительно?

— А как же? Эка новость! Ради будущего позволено все, это вам даже верующие люди скажут. Не удивлюсь, если и в Библии так написано.

— Определенно не написано. Так говорят лишь иезуиты, а им прощения не видать. И вам тоже.

— Прощения? Как знать? Однако речь у нас шла о прокламации, Федор Михайлович. Кого так уж заботит ее автор? Слова что ветер — сегодня здесь, завтра там. У них нет хозяина. Мы с вами говорим о толпе. Вам ведь случалось, наверное, оказаться в толпе? Толпу тонкости насчет авторства не интересуют. У нее нет разума, одни лишь страсти. Или вы подразумевали нечто иное?

— Я подразумевал, что если вы сознательно причините страдания несчастным детишкам, ютящимся здесь за стеной, то вам никогда не будет прощения.

— Сознательно? Но что значит «сознательно»? Вы говорите о том, что происходит в человеческом разуме. А история творится на улицах. И не указывайте мне, что-де высказанное мною толь-

ко что представляет собою идею, порожденную разумом. Это всего-навсего уловка, еще один хитроумный приемчик спорщика, как раз такими и сбивают с толку студентов. Я не какие-то там идеи высказываю, да хоть бы и идеи — это в счет не идет. Идеи у меня могут быть сейчас одни, а через минуту другие, но пока я *действую*, идеи мои гроша ломаного не стоят. Народ-то *действует.* Да к тому же вы и не правы. Вы даже в любезной вам теологии как следует не разобрались. Приходилось ли вам слышать о хождении Богородицы по мукам? Назавтра после Судного дня, в который все разрешится и запечатлеются врата адовы, Богородица покинет свой небесный престол и спустится в ад, чтобы молить о милости к душам проклятых. Она преклонит колена и не встанет, покамест Бог не смилостивится и не дарует прощение всем, даже атеистам, даже хулителям Его. Так что сами видите, вы противоречите и тому, что написано в ваших же книгах.

В глазах Нечаева пылает торжество победителя.

Прощение всем. От одной этой мысли голова его начинает кружиться. «И соединится отец с сыном». И пусть слова эти исходят из грязных уст святотатца, разве не может сказанное им

оказаться истиной? Кто вправе указывать Богородице, где дозволено Ей учредить дом Свой? И если Христос сокровенен, разве не может Он укрываться здесь, в этом подполье? Разве не может Он в самую эту минуту таиться в младенце у груди женщины за стеною, в девочке с угрюмым, все понимающим взглядом, в самом Сергее Нечаеве?

— Вы искушаете Бога. И если вы рассчитываете сыграть на милосердии Божием, вы проиграете наверняка. Даже до мысли такой не допускайте себя — прислушайтесь к словам моим! — иначе погибнете.

Голос его столь сдавлен, что слова эти еле слышны. Товарищ Нечаева впервые поднимает голову, с любопытством вглядываясь в него.

Словно учуяв его слабость, Нечаев снова переходит в наступление, выматывая его, будто гончий пес.

— Восемнадцать столетий прошло с века Господня, почти девятнадцать! Мы стоим на пороге нового века, в котором никакая мысль не будет запретной. Нет ничего, о чем мы не вправе подумать! И уж конечно, вы это знаете! Должны знать — ваш же Раскольников рассуждал об этом в написанной вами книге, пока его не свалила болезнь.

— Вы безумны, вы просто не умеете читать, — бормочет он. Но он потерпел поражение и хорошо это сознает. Он потерпел поражение в споре, оттого что сам не верит себе. А не верит себе оттого, что потерпел поражение. Все рушится: логика, доводы разума. Он глядит на Нечаева и видит лишь кристалл, мерцающий в пустыне, — замкнутый в себе самом, несокрушимый.

— Будьте осторожны, — говорит Нечаев, грозя ему пальцем. — Тщательнее выбирайте слова, говоря обо мне. Я человек русский, и, называя меня безумным, вы утверждаете, будто и Россия безумна.

— Браво! — восклицает товарищ Нечаева и с вялой издевкой бьет в ладоши.

Он предпринимает последнюю попытку как-то встряхнуться.

— Пустое, это всего лишь увертка софиста. Вы только часть России, и безумия ее только часть. Я — тот человек, — он прижимает руку к груди и тут же, устыдясь аффектированности жеста, опускает ее, — тот, кто несет в себе безумие. Это моя участь, мое бремя, не ваше. Вы еще слишком юны, чтобы не сломаться под ним.

— И опять-таки браво! — снова прихлопнув в ладоши, восклицает товарищ Нечаева. — Тут он

тебя поймал, Сергей!

— И оттого я предлагаю вам сделку, — спеша продолжает он. — Я напишу кое-что для вашего станка. Я напишу правду, полную правду, уместив ее, как вы пожелали, на одной странице. Мое условие таково, чтобы вы напечатали эту правду в собственном ее виде, не изменив в ней ни слова, и послали на улицы.

— Договорились! — Нечаев положительно светится от торжества. — Вот это по мне! Дай ему перо и бумагу.

Незнакомец накрывает наборный столик доской, кладет поверх лист бумаги.

Он пишет:

В ночь 12-го октября, в год Господа нашего 1869-й, мой приемный сын Павел Александрович Исаев разбился насмерть, упав с дроболитной башни, что на Столярной набережной. Распространились слухи, будто в смерти его повинно Третье отделение. Слухи эти представляют собою лживые измышления. Я уверен, что сын мой был убит его вероломным другом Сергеем Геннадиевичем Нечаевым.

Бог да смилостивится над душою его.

Ф. М. Достоевский.
18 ноября 1869.

Ощущая легкую дрожь, он вручает листок Нечаеву.

— Превосходно! — говорит Нечаев, передавая листок товарищу. — Истина, какой ее видит слепец.

— Печатайте.

— Набери, — приказывает Нечаев.

Товарищ Нечаева смотрит на него твердым вопрошающим взглядом.

— Это правда?

— Правда? Истина? Что есть истина? — взвизгивает Нечаев столь пронзительно, что весь подвал начинает звенеть. — Набирай! Мы и так потратили много времени!

И в этот миг он понимает, что попал в западню.

— Позвольте, я кое-что изменю, — говорит он и, получив листок, сминает его и сует в карман. Нечаев не пытается ему помешать.

— Поздно, поздно, слово не воробей, — говорит он. — Вы написали это при свидетеле. Мы напечатаем написанное вами, как и обещали, слово в слово.

Западня, адская западня. Стало быть, он вовсе не тот, за кого себя принимал, — не человек, неожиданно вышедший из кулисы, чтобы вмешаться в распрю между пасынком своим и анархистом Сергеем Нечаевым. Смерть Павла была всего лишь приманкой, позволившей завлечь его из Дрездена в Петербург. Его выманили из укрытия, и теперь Нечаев держит его за горло.

Он растерянно глядит на Нечаева, но тот неколебим.

17
Яд

Низкое солнце плывет в бледном безоблачном небе. Выйдя из муравейника переулков на Вознесенский проспект, он закрывает глаза; головокружение, норовящее свалить его с ног, возвращается вновь, так что он почти сожалеет об отсутствии направляющей руки и повязки на глазах.

Петербургский водоворот отнял у него все силы. Дрезден манит его как островок мира — Дрезден, жена, книги и рукописи, сотни образующих дом мелких удобств, и не последнее из них — удовольствие, доставляемое свежим бельем. И это теперь, когда он, лишившись паспорта, не может уехать. «Павел!» — шепчет он, повторяя заклинание. Но нить, которая соединяла его с Павлом, оборвалась, а с нею и нить рассуждений, говоривших ему, что, поскольку Павел погиб в Петербурге, он остается привязанным к этому городу. Ныне его удерживает здесь не воспоминание о Павле, даже не Анна Сергеевна, а волчья яма, которую вырыл для него сгубивший Павла человек. Сворачивая

не налево, к Свечной, но направо, к полицейскому участку на Садовой, он тешится запальчивой надеждой на то, что Нечаев идет за ним по пятам, выслеживая.

Приемная, как и в прошлый раз, битком набита народом. Он занимает место в очереди и спустя двадцать минут достигает стола письмоводителя.

— Достоевский, явился отметиться согласно распоряжению, — говорит он.

— Чьему распоряжению? — За столом письмоводителя сидит молодой человек, не соизволивший даже облачиться в полицейский мундир.

Он раздраженно взмахивает рукой.

— Откуда мне знать? Мне приказано было прийти сюда и отметиться, вот я и пришел.

— Присядьте пока, вами кто-нибудь непременно займется.

Он начинает закипать:

— Мною не нужно заниматься, довольно того, что я здесь! Вы увидели меня во плоти, чего ж вам еще? И как я присяду, по-вашему, если тут нет ни единого свободного места?

Его горячность явно пугает письмоводителя, да и прочие толпящиеся в прихожей люди посматривают на него с удивлением.

— Запишите мое имя, и покончим с этим! — требует он.

— Как же я могу вот так просто взять и записать ваше имя? — резонно возражает письмоводитель. — Откуда мне знать его? Покажите хотя бы паспорт ваш.

Он уже не в состоянии сдерживаться.

— Вы же и отняли у меня паспорт, а теперь требуете, чтобы я его показал! Что за безумие! Проводите меня к следственному приставу, господину Максимову!

Если он ожидал, что фамилия Максимова внушит письмоводителю благоговейный ужас, то ошибся.

— Господин Максимов в настоящую минуту отсутствует. Будет лучше, если вы присядете и успокоитесь. Кто-нибудь непременно займется вашим делом.

— И когда же это случится?

— Не могу знать. Вы не единственный человек, оказавшийся в затруднительном положении. — Письмоводитель взмахивает рукой в сторону заполнившего приемную народа. — Во всяком случае, если у вас имеется жалоба, то положенная процедура требует, чтобы вы подали ее в письменной форме. Без письменного объявления мы

ничего предпринять не сможем — нам нужно, чтобы было, так сказать, что на зубок положить. По речи вашей видно, что вы человек образованный. Стало быть, вам этого объяснять не нужно.

И письмоводитель обращается к следующему в очереди просителю.

Он не питает никаких сомнений в том, что, подвернись ему сейчас Максимов, он выдаст Нечаева в обмен на паспорт. Если что и способно поколебать его, так это уверенность, что быть преданным — и не кем-нибудь, а им, Достоевским, — это как раз то, чего желает Нечаев. Или дело обстоит еще хуже и содержит дальнейшие выверты? Быть может, за оскорбительными замечаниями насчет его, Достоевского, склонности к предательству, замечаниями, коими столь обильно осыпал его Нечаев, кроется стремление повергнуть его в смущение и остановить? На каждом повороте этой интриги его, как он теперь понимает, переигрывали, и переигрывали, может статься, оттого, что и сам он желал проиграть игроку, при первом же с ним знакомстве распознавшему в нем удовольствие, с которым он уступает чужому влиянию, удовольствие, испытываемое им, когда кто-то строит против него козни, опутывает его своими сетями, заманивает

в западню, — распознал и использовал это знание для достижения собственных целей.

И с Павлом произошло то же самое? Был ли и Павел в тайная тайных души истинным сыном приемного отца своего, совращаемым сладострастными посулами совращения?

Нечаев назвал капиталистов пауками, но в настоящую минуту сам он ощущает себя не более чем мухой в паутине Нечаева. Он способен вообразить лишь одного еще более крупного паука — Максимова, сидящего за письменным столом и облизывающегося в предвкушении новой добычи. Хочется надеяться, что Максимов сожрет Нечаева, проглотит молодого человека целиком, с хрустом раздробит его кости и выплюнет обескровленные останки.

Итак, после всех восхвалений в собственный адрес он скатился к самой ничтожной мстительности. Насколько ниже еще предстоит ему пасть? Он вспоминает слова Максимова: в век, подобный нашему, быть отцом одних только дочерей — это благословение Божие. А коли уж выпадает иметь сыновей, то лучше растить их, не приближаясь к ним слишком близко, вот как разводят рыб или лягушек.

Он представляет себе паука Максимова в доме

его, трех дочерей, которые с тихим шипением суетятся вокруг папаши, оглаживая его когтистыми лапками, и погружается в чувство глубочайшего негодования и на Максимова тоже.

Он очень рассчитывал, что ответ от Аполлона Майкова придет в самом скором времени, однако дворник на все расспросы отвечает твердо: никак нет-с, ответа не было.

— Да уверены ли вы, что письмо мое было доставлено?

— Что же меня-то спрашивать, вы спросите мальчишку, которому его отдали.

Он пытается отыскать мальчишку, однако тот точно сквозь землю провалился.

Написать еще раз? Если первая его мольба дошла до Майкова и была им оставлена без ответа, не будет ли вторая пустым унижением? Он покамест не нищий попрошайка. Тем не менее нужно сказать себе неприятную правду: ото дня в день он живет на подачки Анны Сергеевны. Да и надеяться на то, что его присутствие в Петербурге останется незамеченным, более не приходится. Слух о его появлении здесь разойдется скоро, если уже не разошелся, и тогда любой из полудюжины его кредиторов сможет обратиться к властям с прошением о том, чтобы его упрята-

ли в долговую яму. Безденежье его не защитит: кредитору недолго сообразить, что жена его, или родственники жены, или собратья-писатели могут, прибегнув к последнему средству, собрать деньги, чтобы оградить его от бесчестья.

Стало быть, тем больше у него причин убраться из Петербурга! Необходимо вернуть паспорт, а не получится, так рискнуть снова отправиться в дорогу с паспортом Исаева.

Он обещал Анне Сергеевне, что будет присматривать за больной девочкой. Зайдя к ней, он обнаруживает, что занавеска отдернута, а Матрена сидит в постели.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он. Погруженная в собственные размышления, она не отвечает ему.

Он подходит ближе, кладет ладонь ей на лоб. На щеках девочки горят красные пятна, дыхание короткое, но жара нет.

— Федор Михайлович, — глядя в сторону, медленно спрашивает она, — а умирать очень больно?

Он удивлен направлением ее мыслей.

— Матреша, голубчик, — говорит он, — тебе это вовсе не грозит! Ложись вздремни, а как проснешься, тебе уже станет лучше. Ты ведь слы-

шала, что сказал доктор: несколько дней, и ты снова вернешься в школу.

Он еще не успевает закончить, а Матреша уже трясет головой.

— Я не о себе, — говорит она. — Очень ли это больно… ну, вот… ну, когда человек умирает?

Он понимает наконец, что она совершенно серьезна.

— В самый миг, то есть?

— Да. Не когда ты совсем уж умер, а вот перед тем.

— То есть когда знаешь, что почти уже мертв?

— Да.

Чувство благодарности охватывает его. Уже несколько дней как девочка отстраняется от него, защищаясь поддельной бестолковостью, ребячливостью, упиваясь своими обидами, не желая делиться с ним сохраняемыми ею драгоценными воспоминаниями о Павле. И вот наконец она снова стала самой собой.

— Животные умирают легко, — мягко говорит он. — Быть может, нам следует поучиться у них. Быть может, для того и населили ими землю, чтобы показать нам, что жизнь и смерть не так тяжелы, как мы думаем.

Он умолкает, затем пробует подступиться с

другой стороны:

— Боль-то нас в смерти пуще всего и пугает. И страх, что придется покинуть тех, кто нас любит, и проходить дальнейший наш путь в одиночестве. Но ведь это не так, совершенно не так. Умирая, мы уносим любимых наших с собою, в груди своей. Вот и Павел, когда умер, взял с собою тебя, и меня, и матушку твою. Он и сейчас хранит нас в себе. Павел не одинок.

Матрена все с тем же апатичным, непроницаемым выражением говорит:

— Я думала не о Павле.

Он сбит с толку, он не понимает девочку; однако предстоит пройти еще нескольким мгновениям, прежде чем он усвоит *всю* полноту своего непонимания.

— Но о ком же тогда?

— О барышне, приходившей сюда в субботу.

— Не понимаю, о какой барышне?

— О подруге Сергея Геннадиевича.

— Чухонке? Ты думаешь о ней потому, что ее схватила полиция? Об этом тебе не стоит тревожиться! — Он берет Матренины ладони в свои и поглаживает, желая ее успокоить. — Смерть ей вовсе не грозит. Полиция не убивает людей. Ее просто-напросто вышлют домой, в Карелию,

вот и все. На худой конец, подержат немного в тюрьме.

Она отнимает руку и поворачивается лицом к стене. В голове его начинает брезжить мысль, что, возможно, он так ее и не понял, что она, может быть, вовсе не искала у него утешения, избавления от детских страхов, но, напротив, пыталась окольным путем рассказать ему о чем-то, чего он не знает.

— Ты боишься, что ее ожидает казнь? Тебя это путает? Потому что тебе известно какое-то ее преступление?

Матрена трясет головой.

— Так объясни же. Мне ничего больше в голову не приходит.

— Они все поклялись, что не позволят себя схватить. Поклялись покончить с собой.

— Матреша, давать такие обеты легко, куда труднее их выполнить, особенно после того, как друзья тебя бросают и ты остаешься совсем одиноким. Жизнь так драгоценна, что Катри права, пытаясь ее сохранить, тебе не следует винить ее в этом.

На какое-то время девочка погружается в размышления, перебирая пальцами одеяло и, видимо, сама того не сознавая. Когда она вновь

произносит несколько слов, она произносит их шепотом, опустив голову, так что он их едва различает:

— Я дала ей яд.

— Что ты дала ей?

Матрена отводит с лица волосы, и он видит, *что* те скрывали — чуть приметную улыбку.

— Яд, — так же тихо повторяет она. — Он причинит ей страдания?

— Но как же ты это сделала? — спрашивает он, стараясь протянуть время, пока не улягутся лихорадочно скачущие мысли.

— Когда передавала ей хлеб. Никто не заметил.

Он вспоминает сцену, показавшуюся ему столь странной: старомодный реверанс, поднесенную арестантке еду.

— Она знала? — пересохшими губами шепчет он.

— Да.

— Ты уверена? Уверена, что она понимала, что ты ей даешь?

Матрена кивает. И, припомнив, насколько оцепенелой, насколько лишенной благодарности казалась тогда чухонка, он не может ей не поверить.

— Да, но как же яд попал в твои руки?

— Сергей Геннадиевич оставил, для нее.

— Что он еще оставил?

— Флаг.

— Флаг и еще что?

— Разные вещи. Он просил меня сохранить их.

— Покажи их мне.

Девочка выбирается из кровати, встает на колени и, порывшись между кроватных пружин, вытаскивает холщовый сверток. Положив сверток на постель, он разворачивает его. Американской работы пистолет с патронами. Несколько прокламаций. Нанковый кошель, стянутый и перевязанный длинной веревкой.

— Яд внутри, — говорит Матрена.

Он распутывает веревку и высыпает на постель содержимое кошеля: три стеклянные капсулы с зеленым порошком внутри.

— Это ты ей и дала?

Матрена кивает.

— Она должна была носить такой же на шее, но не носила.

Девочка сноровисто продевает голову в веревочную петлю, так что кошель помещается между ее грудок будто медальон.

— Иначе бы они ее не схватили.

— И ты дала ей другой.

— Но ведь она же нуждалась в яде — чтобы выполнить клятву. Она была готова на все для Сергея Геннадиевича.

— Может быть. Во всяком случае, так говорит Сергей Геннадиевич. И все же, не дай ты ей яд, ей было бы проще не сдержать данного Сергею Геннадиевичу слова, да еще такого, которое сдержать особенно трудно, — не правда ли?

Матрена морщит нос. Он узнает эту ее гримаску, появляющуюся, когда девочку, к большому ее неудовольствию, загоняют в угол. Тем не менее он продолжает:

— Тебе не кажется, что Сергей Геннадиевич слишком вольно обращается со смертью? Помнишь нищего, которого убили по соседству? Это тоже сделал Сергей Геннадиевич — или приказал сделать кому-то другому, а тот, другой, подчинился ему, как подчинилась ты.

Она опять морщит нос.

— Но зачем? Зачем понадобилось его убивать?

— Полагаю, из желания показать всем и вся, что он, Сергей Геннадиевич, не тот человек, с которым позволительно шутки шутить. Или из желания испытать того, кто получил приказ совершить убийство, посмотреть, выполнит ли он этот приказ. Не знаю. Мне трудно читать в его

сердце, да больше и не хочется.

Матрена молчит, размышляя.

— Мне этот нищий не нравился, — сообщает она наконец. — От него рыбой несло.

Он смотрит на нее не мигая, и Матрена отвечает ему взглядом столь же твердым.

— А Сергей Геннадиевич тебе, стало быть, нравится?

— Да.

Он хотел спросить о другом, хотел, но не решился: ты его любишь? Ты тоже на все для него готова? Впрочем, она отлично поняла смысл вопроса, да, собственно, на него и ответила. Значит, остается задать еще только один:

— Больше, чем Павел?

Матрена колеблется. Он прямо-таки видит, как она взвешивает их — одного в правой ладони, другого в левой, как яблоки.

— Нет, — в конце концов отвечает она с интонацией, для которой ему удается найти лишь одно обозначение — благоволящая. — Павел по-прежнему нравится мне больше всех.

— Потому что нельзя ведь найти двух менее схожих людей, не правда ли? Лес лесом, а бес бесом.

— Лес лесом, а бес бесом? — прыскает Матрена.

— Есть такое присловье. Конный пешему не товарищ. Так же, как гусь свинье.

Последнее уподобление представляется ей сомнительным.

— Они оба такие веселые… были, — возражает она, запнувшись на глаголе.

Он качает головой.

— Вот тут ты ошибаешься. Сергей Геннадиевич человек далеко не веселый. Конечно, в нем присутствует некий дух, но это не дух радости. — Он склоняется к девочке и, отведя прядь волос с ее лица, касается щеки. — Послушай, Матреша. Ты не сможешь долго прятать все это от матери. — Он указывает на орудия убийства. — Я помогу тебе избавиться от них, как помог с платьем. Что бы там ни говорил Сергей Геннадиевич, хранить их здесь невозможно. Слишком опасно. Ты понимаешь?

Губы ее чуть приоткрываются, уголки их вздрагивают. Сейчас заплачет, думает он. Но нет, дело клонится вовсе не к этому. Девочка поднимает глаза, и его обволакивает взгляд одновременно бесстыдный и насмешливый. Она уклоняется от его руки, встряхивает головой. «Нет!» — выдавливает он. Улыбка девочки становится издевательской, искусительной. Но тут чары

спадают, и она обращается в то же дитя, что и прежде, запутавшееся, мучимое стыдом.

Невозможно, чтобы увиденное им только что произошло в действительности. То, что он видел, пришло из другого, хорошо ему знакомого мира, из другого существования. Он словно бы в первый раз пережил припадок, сохраняя сознание, так что глазам его открылись наконец области, в которые он попадает, когда им овладевает приступ болезни. В сущности говоря, ему следовало б задуматься о том, насколько верным остается слово «припадок», не вернее ль и не всегда ли было вернее другое — «беснование», и не было ли все, что в последние двадцать лет называлось припадками, простым предчувствием того, что случилось с ним ныне, не были ль трепет и содрогание тела затянувшейся прелюдией к судорогам души.

Смерть невинности. Никогда еще не чувствовал он себя таким одиноким. Точно странник на бескрайней равнине. Над головой собираются грозовые тучи; молния посверкивает на горизонте; тьма сгущается, наползая волна за волной. Укрыться негде, и если он когда-то и знал цель, к которой идет, то давно уж ее потерял; а тучи меж тем все тянутся, становятся все грузнее.

«Пусть наконец все рухнет!» — молится он:

отсрочки бессмысленны.

Когда в шесть часов он выходит из дому со свертком под мышкой, на улицах все еще не протолкнешься. По Гороховой он проходит к Фонтанке, вливается в толпу, переходящую мост, и в середине моста останавливается, опершись о перила.

Лед почти уж сковал воду, осталась лишь неровная полынья посередине реки. Чего там только нет, подо льдом! Весенний паводок делает явными немало преступных тайн, выставляя на свет божий ножи, топоры, окровавленную одежду. Если не хуже. Убить человека легко, куда труднее избавиться от останков. Заупокойная служба с ее заклинаниями обращается, если правду сказать, не к душе, но к упрямому телу, уговаривая его не вставать и не возвращаться.

И с опаской, словно притрагиваясь к незатянувшейся ране, он вновь разрешает себе подумать о Павле. Павел, неупокоенный, все еще длит существование свое под покровом земли и снега на Елагином острове. Павел сжимается в комок от стужи, от мыслей о вечности, которую ему предстоит протянуть, прежде чем настанет день воскрешения, когда расколются надгробия и разверзнутся могилы; Павел, будто голый череп,

стискивает зубы, снося то, что ему предстоит сносить, пока солнце не озарит его вновь и он не сможет расправить затекшие члены. Бедный мальчик!

Молодая пара приостанавливается рядом с ним, рука мужчины обнимает женские плечи. Он немного отодвигается в сторону. Черная вода лениво течет под мостом, мелкие волны плещут о разломанную, обросшую сосульками корзину. Он кладет холщовый сверток на перила. Женщина встречается с ним взглядом, отводит глаза, и тогда он легко толкает сверток локтем.

Сверток падает на кромку льда у самой полыньи и остается лежать у всех на виду.

Он не верит своим глазам. Он же стоит над самой промоиной и тем не менее умудрился промахнуться! Что это, фокусы параллакса? Или существуют предметы, которые падают не вертикально?

— Эк вас угораздило! — произносит, пугая его, чей-то голос слева.

Человек в фуражке мастерового, пожилой, седобородый, подмигивает, уставясь ему прямо в лицо. Вот же дьявольская рожа!

— На лед-то, я мыслю, с неделю еще не сступишь. Хорошие ваши дела, нечего сказать.

Теперь бы еще припадок, думает он, и чаша моя будет полна. Он видит себя бьющимся в конвульсиях, пена летит изо рта, собирается толпа, и седобородый тычет для всеобщего осведомления пальцем туда, где на льду лежит пистолет. Припадок, ударяющий, точно молния с неба, поражая грешника. Но молния что-то задерживается.

— Не лезьте не в свое дело! — бормочет он и спешит уйти с моста.

18
Дневник

Вот уже в третий раз принимается он читать оставшиеся от Павла бумаги. Он не взялся б сказать, почему чтение дается ему с таким трудом, и тем не менее внимание его раз за разом отвлекается от смысла слов к самим словам, к буквам на бумаге, к чернильному следу ползущей по бумаге руки, к штрихам, оставленным нажатиями пальцев. Временами он закрывает глаза и прикасается губами к листу. Бесценен, каждый клочок бумаги бесценен для меня, говорит он себе.

Но в нерасположении его к чтению присутствует и нечто иное. Это вторжение в тайны Павла отдает чем-то скверным, да и само представление о воспринятом от ребенка Nachlass[9], в сущности, непристойно.

Сибирский рассказ Павла испорчен для него насмешкой Максимова, и, видимо, навсегда. Он не может не сознавать, что сама манера, в которой написан рассказ, ребячески незрела,

---

[9] Примечания: 9
Наследство (*нем.*).

несамостоятельна. И все же как мало требуется усилий, чтобы вдохнуть в него жизнь! Руки его чешутся от желания переписать рассказ, вымарав длинные пассажи, сентиментальные и нравоучительные, добавив живые подробности, которые так и просятся на бумагу. Этот юноша, Сергей, самодовольный резонер, требует описания отстраненного, освещения более юмористического, особенно в том, что касается чинной торжественности, с которой он укрепляет свое тело. Крестьянскую девушку привлекает в нем, конечно, не перспектива супружеской жизни (состоящей, сколько он способен судить, из питания сухарями и брюквой да из спанья на голых досках), но вот эта его постоянная готовность к таинственной участи, откуда она произошла? Из Чернышевского, разумеется, но не только из Чернышевского — из Евангелий, из Иисуса, из подражания Иисусу, такого же, на свой манер, недалекого и превратного, как у атеиста Нечаева, собирающего вкруг себя шайку учеников и посылающего их в мир со смертоносными поручениями. Человек со свирелью и со следующим за ним по пятам стадом приплясывающих свиней. «Она была для него готова на все», — сказала Матрена о свинообразной Катри. На все — на лю-

бое унижение, на смерть. Все выжжено — стыд, самоуважение. Интересно, что происходило между Нечаевым и его женщинами в комнатке над заведением Madame la Fay? А Матрена — ее тоже приуготовляли для нечаевского гарема?

Он закрывает рукопись Павла, отодвигает ее. Начни он ее переписывать, определенно получится нечто постыдное.

Теперь дневник. Перелистывая страницы его, он в первый раз примечает следы карандаша, аккуратные галочки, оставленные не рукою Павла, а, стало быть, рукою Максимова, и никого иного. Для кого они предназначались? Верно, для переписчика; но в нынешнем его состоянии он способен воспринимать их лишь как указующие вешки, расставленные Максимовым для него.

«Виделся нынче с А.», — читает он против галочки запись, сделанную 11 ноября 1868 года, почти ровно год назад. 14 ноября: снова загадочная А. 20 ноября: «А. у Антонова». Начиная с этой страницы каждое упоминание А. сопровождается галочкой.

Он отлистывает страницы назад. Самое раннее упоминание об А. относится к 6 июня, если не считать записанного 14 мая: «Длинный разговор с — », против чего также стоит галочка и вопро-

сительный знак.

14 сентября 1869 года, за месяц до смерти: «Сюжет для рассказа (подсказан А.). Запертые ворота, мы стоим снаружи, стучим, кричим, просимся внутрь. Каждые несколько дней ворота чуть приотворяются и страж подзывает одного из нас. Выбранный им лишается всего, чем владеет, даже одежды. Его обращают в слугу, учат кланяться, говорить вполголоса. В слуги они выбирают тех, кто кажется им самым покорным, легче других поддающимся приручению.

Тема: распространение духа неподчинения среди слуг. Поначалу перешептывания, затем гнев, мятежные настроения, и наконец, взявшись за руки, они приносят клятву мщения. Заканчивается все появлением старого верного слуги, седого, отечески добродушного, он приходит с канделябром, чтобы (как он говорит) „внести посильный вклад“, и поджигает портьеры».

План сказки, аллегории, но не рассказа. Отсутствие собственной жизни, собственной сердцевины. Отсутствие души.

6 июля 1869: «В почте десять рублей от Сниткиной, на мои именины (запоздали), с наказом не говорить Хозяину».

«Сниткина» — Аня, его жена; «Хозяин» — он

сам. Вот это подразумевал Максимов, предостерегая его относительно «мучительных» мест? Коли так, Максимову следовало бы знать, что для него это не более чем комариный укус. Он способен снести и большее, гораздо большее.

Он отлистывает назад еще несколько страниц, возвращаясь к дням более ранним.

26 марта 1867: «Прошлой ночью столкнулся на улице с Ф. М. Вид у него был какой-то украдчивый (ходил в публичный дом?), и я решил притвориться пьянее, чем был. Ф. М. „направил стопы мои к дому“ (он повадлив разыгрывать отца, прощающего блудного сына), уложил меня, точно труп, на диван и долго потом ругался шепотом со Сниткиной. Я лишился башмаков (наверное, отдал кому-то). Кончилось все тем, что Ф. М., сняв сюртук, приладился омыть мне ноги. Все это оч. стесняет. Утром сказал С., что я *должен* жить отдельно, не может ли она надавить на него, воспользовавшись обычными ее фокусами? Но она слишком его боится».

Больно? Разумеется, больно, тут следует отдать Максимову должное. И все-таки если что и способно убедить его оставить дальнейшее чтение, так это не боль, а боязнь. Боязнь утратить доверие к жене, например. Боязнь за его веру в Павла.

Но кому же предназначались эти озлобленные страницы? Написал ли их Павел для отцовских глаз, а после умер, чтобы обвинения так и остались безответными? Разумеется, нет: даже думать так — безумие! Это больше похоже на то, как женщина пишет к любовнику, ощущая за плечом привычный призрак мужа. Каждое слово двойственно: один видит в нем страсть и обещание, другой — осуждение и отповедь. Надтреснутые слова, идущие от надтреснутого сердца. Понял ли это Максимов?

2 июля 1867, три месяца спустя: «Освобождение рабов! Наконец-то на воле! Простился с Ф. М. и его новобрачной на воксале железной дороги. И сразу затем съехал с *невозможной* квартиры, в которую он меня запихал (*собственная* чашка, *собственное* салфеточное кольцо и простокваша в половине одиннадцатого утра). В. Г. обещал приютить меня, пока я не подыщу другого места. Надо будет уломать старичка Майкова, пусть отдаст мне деньги, чтобы я сам платил за квартиру».

Он отрешенно перелистывает страницы — вперед, назад. Прощение: неужели нет здесь ни слова прощения, пусть косвенного, пусть неявного? Как сможет он доживать свои дни, лелея в душе

ребенка, чьим последним словом было не слово прощения?

Свинцовый гроб, внутри серебряный. Внутри серебряного — золотой. А в золотом лежит тело юноши в белом с руками, скрещенными на груди. В пальцах стиснута телеграмма. Он вглядывается в нее, пока все не начинает плыть перед глазами, выискивая слово прощения, которого в ней нет. Телеграмма составлена на еврейском, на арамейском, он никогда прежде не видал этих знаков.

Стук в дверь. Анна Сергеевна, в уличном платье.

— Пришла поблагодарить вас за то, что присмотрели за Матрешей. Она вам не очень досаждала?

Ему требуется несколько секунд, чтобы прийти в себя, вспомнить, что ей ничего не известно о том, как отвратительно Нечаев использовал девочку.

— Ничуть не досаждала. Как она, на ваши глаза?

— Спит, я не стала ее будить.

Она замечает разбросанные по кровати листы.

— Вижу, вы все же читаете бумаги Павла. Не буду вам мешать.

— Нет-нет, останьтесь. Это занятие не из самых

приятных.

— Федор Михайлович, позвольте мне снова просить вас: не читайте того, что не предназначалось для ваших глаз. Вы только страдания себе причините.

— Я рад был бы последовать вашему совету. К несчастью, я приехал сюда не для того — не для того, чтобы оградить себя от страданий. Я просматривал дневник Павла и наткнулся на описание происшествия слишком мне памятного, случившегося в позапрошлом году. Увидеть его теперь другими глазами — это, знаете, откровение в своем роде. Павел пришел среди ночи домой мертвецки пьяным. Мне пришлось раздеть его, и, помню, меня поразило одно, чего я прежде не замечал, — какие у него на ступнях маленькие ногти, они словно бы и не выросли с детской его поры. Широкие мясистые ступни — полагаю, доставшиеся ему от отца, — с крохотными ноготками. Он потерял башмаки или отдал их кому-то, и ноги у него были совсем ледяные.

Павел, в одних носках бредущий после полуночи холодными улицами. Заблудший ангел, ангел несовершенный, из числа отвергнутых Богом. Ступни его — ступни пешехода, привычно попирающего нашу великую мать; ступни кре-

стьянина, не танцора.

Потом он сидит на диване, мотая свешенной головой, и всю одежду его покрывает рвота.

— Я дал ему старые сапоги и видел утром, как он уходил, очень сердитый, с сапогами в руках. Ничего не поделаешь, думал я. Хотя что же, восемнадцать, девятнадцать — возраст опасный, опасный для всякого, кто уже оперился, а гнездо покинуть еще не может. Вечно голодный, вечно что-то жующий. Совсем как пеликан — нескладное создание, самая неказистая среди птиц, пока он не расправит огромные крылья и не воспарит над землей.

Увы, Павел запомнил ту ночь совсем по-другому. В его рассказе о ней нет ни слова о птицах и ангелах. И об отеческой заботе ни слова. Об отеческой любви.

— Федор Михайлович, ну зачем вы себя так терзаете? Если вы не в силах сжечь эти страницы, так хотя бы заприте их до поры и вернитесь к ним, когда примиритесь с Павлом. Прислушайтесь к моим словам и сделайте, как я говорю, для вашего же блага.

— Спасибо вам, милая моя Анна. Я слышу ваши слова, они проникают в самое сердце мое. Но когда я говорю о том, что не вправе ограждать

себя от страданий, о том, почему я здесь, я разумею под «здесь» не вашу квартиру, не Петербург. Я хочу сказать, что очутился здесь, в России, в том времени, в котором мы с вами живем, не для того, чтобы прожить жизнь не страдая. Я призван к жизни — как бы это сказать? — в России или с Россией во мне, что бы ни означало это слово — «Россия». Такова моя участь, и избегнуть ее я не в силах.

Это не значит, будто я усматриваю в жизни моей какой-то великий смысл. Если разобрать ее по косточкам, она навряд ли заслужит чье-нибудь одобрение. В сущности говоря, это и не жизнь даже, а род цены или разменной монеты. Нечто такое, чем я плачу за возможность писать. Вот чего так и не понял Павел: я тоже расплачиваюсь.

Она хмурится. Он понимает вдруг, у кого переняла Матрена свою повадку. Анне не по сердцу люди, выворачивающие перед нею нутро. Что ж, честь ей за то и хвала! В России и так слишком довольно людей, падких до этого занятия.

И тем не менее «я тоже расплачиваюсь»: он повторил бы это сызнова, если б у Анны хватило терпения слушать его. Он сказал бы это опять, и не одно только это. Да, я плачу́, и я же продаю — вот из чего слагается мое существование. Про-

даю свою жизнь и жизни тех, кто меня окружает. Продаю все. Торговля Яковлева — жизни по сходной цене. В окончательном смысле чухонка была права: Иуда не Иисус. Продам тебя, продам твою дочь, продам всех, кого люблю. Я продавал Павла живого, теперь продам то, что осталось во мне от Павла, если только смогу придумать, как это сделать. Надеюсь, мне удастся сыскать и способ продажи Сергея Нечаева тоже.

Жизнь без чести, предательство без предела, исповедь без конца.

Анна прерывает ход его мыслей.

— Вы по-прежнему думаете съехать от нас?

— Да, конечно.

— Я потому спрашиваю, что ко мне уже обращались насчет комнаты. Куда вы направитесь?

— Первым делом к Майкову.

— Вы, помнится, говорили, что не можете больше просить его об услугах.

— Он одолжит мне денег, я в этом не сомневаюсь. Скажу, что деньги нужны мне для возвращения в Дрезден. А после подыщу себе какое-нибудь иное пристанище.

— Но почему вам и вправду не возвратиться в Дрезден? Разве это не разрешит все ваши затруднения?

— Паспорт мой все еще в полиции. Но, кроме того, у меня есть и иные причины.

— Я к тому говорю, что вы ведь сделали все, что могли, зачем же попусту тратить время в России?

Выходит, Анна не услышала сказанного им? Или она просто дразнит его? Он встает, собирает бумаги, затем поворачивается, чтобы взглянуть ей в лицо.

— Анна, голубчик, я вовсе не трачу здесь время попусту. У меня есть все основания для того, чтобы оставаться здесь. Думаю, оснований более веских даже и нет ни у кого другого на свете.

И конечно же, сердцем вы тоже понимаете это, я уверен.

Анна качает головой.

— Не знаю, — негромко произносит она, однако тон ее — тон человека, готового услышать возражения и уступить.

— Было время, когда я верил, что вы соедините меня с Павлом. Я видел нас с вами в челне, вы сидели на носу, указывая нам путь сквозь туман. Картина была живая, как сама жизнь. Я во всем полагался на вас.

Она опять качает головой.

— Возможно, я ошибался в деталях, но чувство

мое было верное. С первой минуты я ощутил в вас эту способность.

Если она желает остановить его, ей следует сделать это сейчас. Но Анна молчит. Она впивает его слова, как иссохшее растение воду. И почему же нет?

— Мы сами себе помешали, опрометчиво устремившись к… к тому, к чему устремились, — продолжает он.

— Тут есть и моя вина, — говорит она, — но мне не хочется сейчас вдаваться в это.

— Как и мне. Позвольте сказать только, что в последние несколько недель я стал понимать, сколь многое значит для нас с вами верность, для нас обоих. Мы волей-неволей открыли для себя истинное значение этого слова. Я ведь прав, не так ли?

Он вглядывается в нее, но Анна ждет от него чего-то большего, ей нужно наверное знать, что он и вправду понимает значение слова «верность».

— Для вас это верность дочери, для меня — сыну. Мы не можем любить друг друга, пока не получим их благословения. Я прав?

Он знает, что Анна согласна с ним, и все же она не произносит ни слова. И он продолжает, пытаясь сломить ее слабое сопротивление:

— Я хотел бы прижить с вами ребенка.

Анна краснеет.

— Что за глупости! У вас уже есть жена и ребенок!

— Это другая семья. Вы — члены семьи Павла, вы и Матрена. И я тоже из этой семьи.

— Я вас не понимаю.

— В сердце своем — понимаете.

— И в сердце тоже! Что вы предлагаете? Чтобы я выносила ребенка, отец которого будет жить за границей и почтой высылать мне содержание? Нелепость!

— Но отчего? Вы же заботились о Павле.

— Павел был мне жильцом, а не сыном!

— Я вовсе не жду, что вы примете решение сразу.

— Ну так я приму его сразу! Нет! Вот вам мое решение!

— Но что, если вы уже беременны?

Она вспыхивает.

— Это вас не касается!

— И что, если я не вернусь в Дрезден? Если останусь здесь и буду в Дрезден высылать содержание?

— Здесь? В комнате для постояльцев? Я полагала, причина, по которой вы не можете жить в

Петербурге, состоит в том, что кредиторы упрячут вас в тюрьму.

— С долгами я как-нибудь справлюсь. Мне нужен успех, один-единственный, больше ничего не потребуется.

Внезапно Анну пробирает смех. Она, может быть, сердита на него, но не оскорблена. Ей он может сказать все, что угодно. Как это не похоже на Аню! Аня расплакалась бы, хлопнула дверью, и пришлось бы потратить не меньше недели, мольбами и просьбами возвращая ее расположение.

— Федор Михайлович, — говорит Анна Сергеевна, — завтра поутру вы проснетесь и не вспомните из нашего разговора ни слова. Вам просто взбрела в голову случайная мысль. Всерьез вы ни минуты об этом не думали.

— Вы правы. Именно так. Потому-то я этой мысли и верю.

Она не падает в его объятия, но и не отталкивает его.

— Двоеженство! — негромко и презрительно произносит она, и ее вновь одолевает смех. Затем она спрашивает, уже серьезно: — Хотите, я приду к вам ночью?

— Ничего на свете не хочу сильнее.

— Ну, поглядим.

Она возвращается в полночь.

— Я не могу остаться, — говорит она и тут же закрывает за собою дверь.

Они любят друг друга, как приговоренные к смерти, забыв обо всем, кроме своих ощущений, устремляясь к единой цели. Минутами он не способен сказать, кто из них кто — кто мужчина, кто женщина, — в эти мгновения они походят на чету скелетов, соединений костей и связок, втиснутых одно в другое, рот в рот, глаза в глаза, сцепление ребер, сплетение берцовых костей.

Погодя она лежит в узкой кровати, прижимаясь к нему, положив голову ему на грудь, привольно закинув длинную ногу поверх его ноги. У него чуть кружится голова.

— Так это и есть зачатие спасителя? — мурлычет она. И, видя, что он не понял, поясняет: — Истинная река семени. Ты ничего не захотел оставить случаю. Вся постель промокла.

Святотатственные слова ее лишь обостряют интерес, который он к ней испытывает. Всякий раз он находит в ней нечто новое, поразительное. Немыслимо, что, уехав из Петербурга, он не вернется назад. Немыслимо, что они не увидятся больше.

— Почему ты заговорила вдруг о спасителе?

— Разве не в этом его задача — спасти тебя, спасти нас обоих?

— Но почему ты уверена, что будет *он*?

— О, женщина такие вещи знает.

— А что скажет Матреша?

— Матреша? О братике? Матреше больше ничего и не нужно. Будет нянчиться с ним, сколько душа пожелает.

По видимости, вопрос был задан о Матреше, но это лишь внешняя оболочка другого вопроса, которого он не задал, потому что и без того знает ответ. Павел вовсе не обрадовался бы брату. Павел взял бы братика за ногу и размозжил его голову о стену. Павел счел бы его не спасителем, но самозванцем, узурпатором, дьяволенком, укрывшимся под пухленькой младенческой плотью. И кто мог бы поклясться, что он не прав?

— Так женщина непременно знает?

— Ты спрашиваешь, знаю ли я, что забеременела? Не беспокойся, этого не случилось. — И затем: — Если я задержусь еще ненадолго, я засну.

Анна отбрасывает одеяло, перебирается через него. Отыскав при лунном свете одежду, она одевается.

Он ощущает мимолетную боль. Его волнуют полузабытые, давние чувства; юноша, таящийся

в нем, еще не умерший, вскрикивает, стараясь, чтобы его услышали, труп, скрытый в нем, все еще не похоронен. Ему остается лишь шаг до любви, до пропасти, от падения в которую никакая сдержанность, никакое благоразумие его не спасут. Снова падучая или же близкое подобие ее.

Побуждение было сильным, но и оно прошло. Сильным, но сильным недостаточно. И никогда уже не набрать ему нужной силы, если только она не отыщет какой-то опоры.

— Иди сюда, на минуту, — шепчет он.

Она садится на кровать, он берет ее руку.

— Можно, я предложу кое-что? Мне кажется, отношения Матреши с Сергеем Нечаевым и друзьями его не доведут девочку до добра.

Анна отнимает руку.

— Конечно, не доведут. Но зачем говорить об этом сейчас?

Голос ее ровен и холоден.

— Видишь ли, я не думаю, что ее стоит оставлять одну на то время, когда Нечаев может сюда заглянуть.

— И что ты предлагаешь?

— Нельзя ли ей до часа, в который ты приходишь домой, оставаться внизу, у Амалии Карловны?

— Просить старуху ухаживать за больной девочкой — это немного слишком, ты не находишь? Тем более что она не ладит с Матрешей. Разве не довольно будет сказать Матреше, чтобы она не открывала дверь чужим людям?

— Ты же не знаешь, насколько сильна власть, приобретенная над нею Нечаевым.

Анна встает.

— Мне это не нравится, — говорит она. — Не понимаю, почему мы должны обсуждать мою дочь среди ночи.

Между ними снова встает ледяная стена.

— Неужто же мне невозможно упомянуть ее имя без того, чтобы ты не рассердилась? — сокрушенно спрашивает он. — Ты думаешь, я заговорил бы о ней, если бы не принимал благополучие ее близко к сердцу?

Анна не отвечает. Дверь открывается и закрывается.

19
Пожары

Резкий переход от возобновленной близости к возобновившемуся отчуждению погружает его в замешательство и уныние. Он колеблется между страстной потребностью помириться с этой тяжелой, обидчивой женщиной и гневным желанием махнуть рукой не только на их не имеющие никакого будущего отношения, но и на весь этот полный скорбей и интриг город, с которым он не ощущает более живой связи.

Он потерпел поражение. «Павел!» — шепчет он, пытаясь прийти в себя. Но Павел больше не ведет его за руку, Павел его не спасет.

Утро он проводит, затворясь в своей комнате, сидит, склонив голову, обхватив руками колени. Он не один. Но не сыновнее присутствие ощущает он в комнате. Нет — тысячи мелких бесов роятся в воздухе, точно выпущенная из банки саранча.

Когда он наконец заставляет себя встать, то встает он лишь для того, чтобы снять с туалетного столика оба портрета Павла — дагерротип, привезенный им с собою из Дрездена, и рисунок

Матрены, — сложить их лицом к лицу, завернуть и спрятать в чемодан.

Он выходит из дому для очередного визита в полицию. Воротившись, он видит Анну Сергеевну, пришедшую на несколько часов раньше обычного и определенно встревоженную.

— В городе целый день происходят стычки студентов с полицией. По преимуществу на Петроградской, но и на нашем берегу тоже. Лавки позакрывались — на улицах слишком опасно. Племянник Яковлева ехал в двуколке домой с рынка, и кто-то запустил в него булыжником, без всякой причины. Камень ударил в запястье, и рука у него теперь болит так, что он пальцами двинуть не может, похоже, кость перебита. Он рассказал, что среди студентов мелькает все больше мастеровых. А главное, студенты снова начали поджигать дома.

— Ой, давайте пойдем посмотрим, — предлагает из постели Матрена.

— Ни в коем случае! Это опасно. Да и ветер на улицах такой, что до костей пробирает.

Она ничем не показывает, что помнит прошлую ночь.

Он снова выходит из дому, заглядывает в чайную. В газетах о столкновениях со студентами ни

слова. Впрочем, напечатано извещение о том, что вследствие «распространившегося среди студенчества неподчинения» университет закрывается впредь до дальнейших распоряжений.

Уже пятый час. Борясь с ледяным ветром, он идет вдоль реки на восток. Мосты перекрыты; въезды на них охраняют жандармы в небесно-голубых мундирах и в касках с плюмажами, у каждого по винтовке с примкнутым штыком. На противном берегу ярко блещет в сумерках пламя пожара.

Он идет вдоль реки, пока не натыкается на первый из сгоревших, еще дымящихся лабазов. Начинается снегопад, снежинки, опускаясь на обугленные доски, мгновенно обращаются в ничто.

Он не ждет, что Анна Сергеевна снова придет к нему. Однако она приходит, ничего, как обычно, не объясняя. При том, что в соседней комнате спит Матрена, поведение ее в минуты близости поражает его своею беспечностью. Эти крики и страстные задыхания приглушены лишь наполовину; он начинает сознавать, что они не обличают собою, да и прежде не обличали звуков животного наслаждения, что это лишь средство, которым она доводит себя до чувственного упо-

ения.

В первые мгновения страстное напряжение Анны овладевает и им. Он снова на долгий срок утрачивает представление о том, кто он и кто она. Они словно замыкаются в раскаленную сферу наслаждения и, медленно кружа, плывут в ней, похожие на близнецов.

Никогда еще не встречал он женщины столь самозабвенно чувственной. И все-таки, когда она достигает высшей точки неистовства, он понимает, что отдаляется от нее. Что-то меняется в ней, думает он. Чувства, которые в первую их ночь бушевали в ее сокровенных глубинах, теперь, похоже, поднимаются на поверхность. В сущности, она становится «электрической», подобной множеству иных женщин, которых он знал.

Она настояла на том, чтобы свеча перед зеркалом осталась гореть. Приближаясь к мгновению высшего исступления, она, даже когда веки ее начинают трепетать, а тело содрогаться, все с большей и большей пристальностью вглядывается в его лицо.

В какой-то миг с губ ее срывается слово, которое он узнает лишь наполовину. «Что?» — спрашивает он. Но она только мотает из стороны в сторону головой и скрежещет зубами.

Наполовину? Нет, он узнал это слово: «бес». Он и сам привычно прибегает к нему, хоть, пожалуй, и вкладывает в это слово иное, отличное от ее, значение. «Беснование» — миг перед самой вспышкой восторга, когда душа выдирается из тела и начинает, кружась, падать в беспамятство. И, глядя на нее, бьющую из стороны в сторону головой, сжавшую челюсти, хрипящую, недолго вообразить, что и она одержима бесом.

Она отдается ему еще раз, и с еще большей безудержностью. Но оба они скоро обнаруживают, что источник иссяк.

— Не могу! — выдыхает она и замирает.

Закинув вверх руки, раскрыв ладони, она лежит, словно сдаваясь победителю на милость.

— Не могу больше! — По щеке ее сбегает слеза.

Ярко горит свеча. Он обнимает ее влажное тело. Слезы текут, она не пытается их удержать.

— Что ты?

— У меня нет сил продолжать. Я сделала все, что могла, я изнемогаю. Прошу тебя, оставь нас теперь в покое.

— Вас?

— Да, нас, нас обеих. Мы задыхаемся под гнетом, который ты взвалил на нас. Нам нечем дышать.

— Почему же ты раньше мне не сказала? Я вос-

принимал нашу жизнь совсем по-другому.

— Я не виню тебя. Я пыталась взять все на себя, но больше не могу. Я целый день на ногах, в прошлую ночь не спала, я измучена.

— Ты считаешь, что я просто пользуюсь тобой?

— Нет, не пользуешься, то есть не в этом смысле. Но ты пытаешься через меня подобраться к моей дочери.

— К Матрене? Какая нелепость! Ты не можешь так думать!

— Это правда, это просто лезет в глаза! Ты хочешь через меня дотянуться до нее, а я не могу этого вынести! — Она садится в кровати, скрещивает руки на голой груди и начинает горестно раскачиваться взад-вперед. — Тебя обуяло что-то такое, чего я не способна понять. Ты вроде и здесь, но ведь на самом деле тебя здесь нет. Я готова была помочь тебе ради… — Она беспомощно пожимает плечами. — Но мне это больше не по силам.

— Ради Павла?

— Да, ради Павла и еще из-за того, что ты сказал однажды. Но цена слишком высока для меня. Все это изматывает меня. Я никогда не зашла бы так далеко, если бы не боялась, что ты точно так же заставишь служить себе и Матрешу.

Он поднимает руку к ее губам.

— Говори потише. Ты предъявляешь мне страшное обвинение. Что она тебе наговорила? Я ее и пальцем не тронул, клянусь.

— Кем ты клянешься? И чем? Разве ты веришь во что-то, чем можно поклясться? Да и не о «пальце» речь, ты это прекрасно знаешь. И не указывай мне, как говорить, тихо или громко. — Она отбрасывает одеяло, шарит по постели в поисках рубашки. — Мне нужно побыть одной, иначе я с ума сойду.

Час спустя — он только-только погружается в сон — Анна вновь забирается в его постель, горячая, прижимается к нему, обвивает ногами.

— Забудь о том, что я наговорила, — шепчет она. — На меня порой находит такое, тебе придется свыкнуться с этим.

Среди ночи он просыпается еще раз. Шторы задернуты, но в комнате светло, как при полной луне. Он встает, выглядывает в окно. Меньше чем в версте от дома в ночное небо взвивается пламя. За рекою бушует такой огромный пожар, что он готов поклясться, будто ощущает его обжигающий напор.

Он возвращается в постель, к Анне. Такими и находит их поутру Матрена — мать, растрепан-

ную, крепко спящую, пристроив голову на сгибе его руки, чуть похрапывающую, и его, открывающего глаза, чтобы увидеть насупленную девочку, стоящую в двери.

Видение это могло ему и присниться. Но нет, это не сон. Девочка видит все и все знает.

20
Ставрогин

Облако дыма повисло над городом. Пепел падает с неба, даже снег кое-где посерел.

Все утро он сидит один в своей комнате. Теперь он знает, почему так и не съездил ни разу на Елагин остров. Потому что боится увидеть, что земля там разрыта, могила разверзлась, а тело исчезло. Покойник был похоронен неправильно; теперь он похоронен в нем, в его груди, и больше не плачет, но шипит безумные слова, нашептывает ему понукания пасть еще ниже.

Он болен и знает имя своей болезни. Нечаев, голос века, называет ее мстительностью, но имя более правильное, хоть и не такое высокое, — обида.

Остается лишь сделать выбор. Он может кричать в постыдном падении своем, взывая к Богу или к жене о помощи. Он может также отдаться падению, отвергнуть хлороформ ужаса или утраты сознания и вместо того вглядываться и вслушиваться, ожидая мгновения, которое может и не наступить — тут он не властен, — когда из

тела, рушащегося во тьму, он обратится в тело, в самом сердце которого и совершается это падение, в тело, которое в себе самом содержит и падение свое, и свою тьму.

Если и предназначено кому-то прожить жизнь в безумии нашего времени, сказал он Анне Сергеевне, так это мне. Не восстать после падения без единой царапины, но достигнуть того, чего не смог достичь его сын, — одолеть свистящую тьму, впитать ее, обратить в среду своего обитания, преобразить падение в полет, пусть даже медленный, старческий, неуклюжий, как поползновение черепахи. Жить там, где умер Павел. Жить в России и слушать голоса России, негромко бормочущие в нем. Держать в себе все: Россию, Павла, смерть.

Так он сказал. Но говорил ли он правду или только бахвалился? Ответ несуществен, главное — не отступаться. Не важно и то, что говорит он иносказаниями, обращая собственный отталкивающий, презренный недуг в эмблематическую болезнь века. Безумие кроется в нем, он укрывается в безумии; они осмысливают друг друга; и как они называют один другого — помешательством, эпилепсией, мстительностью или веянием времени, — значения ровно никакого не имеет. И

живет он не в обители безумных, и Петербург не есть город безумия. Безумен он сам, и всякий, кто допускает мысль о его безумии, безумен тоже. Ни одно его слово не несет в себе истины, ни одно — лжи, ничему нельзя верить, ни от чего нельзя отмахнуться. Держаться не за что, остается лишь падать.

Он распаковывает письменный прибор, расставляет его по столу. Дело идет уже не о том, чтобы вслушиваться в темный поток, надеясь услышать голос утраченного ребенка, не о том, чтобы хранить верность Павлу, когда все забудут о нем. Совсем не о верности речь. Напротив — об измене, прежде всего об измене любви, а затем уж и Павлу, и матери с дитятей, и всем остальным. *Извращенность*: все и вся оборачивает он другой стороной — той, за которую ему удобнее ухватиться, чтобы затем уже падать вместе.

Он вспоминает помощника Максимова и вопрос, заданный им: «Какого рода книги?» Теперь он знает ответ, который ему следовало дать: «Книги, в которых извращается истина. Я выбрал кривую дорогу и увожу ею детей в области тьмы. Да и сам я лишь следую за пером, пляшущим предо мною».

Мельком он видит в зеркале туалетного столи-

ка себя, сгорбившегося над письменным столом. В сером свете, без очков, он мог бы принять себя за кого-то чужого; темная борода могла б оказаться пчелиным роем.

Он передвигает стул, садится перед зеркалом. Но чувство, что в комнате присутствует кто-то еще, остается: если и не полнокровный человек, то сколоченное из палок существо, пугало в старом кафтане, с рогожным кулем вместо головы и драным платком поверх рта.

Он отвлекся, и это его раздражает. И самый дух раздражения его поддерживает в призраке извращенную жизнь; а безгласное безразличие пугала к его раздражению лишь удваивает последнее.

Походив немного по комнате, он снова передвигает стул. Склонившись к зеркалу, вглядывается в свое лицо, в поры на коже. Писать он не может, думать тоже.

Не может думать — *поэтому что*? Он не забыл про татя в нощи. Если ему и суждено быть спасенным, то только татем в нощи, коего он обязан высматривать неустанно. Но тать не придет, пока хозяин дома не забудет о нем и не задремлет. Хозяин же дома не может трезвиться и бодрствовать без конца, ибо тогда притча лишится смысла. Он должен спать, и если он должен спать,

то может ли Бог осудить его, спящего? Бог должен спасти его, ничего иного Богу не остается. Однако улавливать Бога в тенета таких рассуждений — означает бросать Ему вызов и святотатствовать.

Привычный старый лабиринт. Все та же его игра, только в ином обличье. Он играет потому, что Бог молчит. Играет, чтобы заставить Бога заговорить. Но пытаться заставить Бога заговорить, переворачивая карту за картой, значит хулить Его. Бог говорит, лишь когда Он молчит. Когда нам кажется, будто мы слышим речь Божию, это не Бог говорит с нами.

Он проводит за столом несколько часов. Перо остается недвижным. Время от времени возвращается видение пугала, помятый, издевательски состаренный шарж на него самого. Ему некуда больше идти, он заперт в тюрьме.

И поэтому… поэтому что?

Он закрывает глаза, заставляя себя встретиться с видением лицом к лицу, принуждая его отчетливее явить свой образ. Лицо по-прежнему скрывает завеса, которую он, похоже, устранить бессилен. Снять завесу может только само привидение, однако оно не сделает этого, пока его не попросишь. А чтобы просить, нужно знать его имя. Какое? Иванов? Иванов вернулся к нему,

смутный, забытый? Но как его звали, Иванова? Или это Павел? Кем был жилец, занимавший эту комнату до него? Кем был П. А. И., владелец чемодана? Обозначает ли П. — Павла? И было ли «Павел» истинным именем Павла? И если назвать Павла неверным именем, придет ли он когда-нибудь еще?

Некогда Павел был главной утратой. Теперь он утратил и себя самого, утратил так основательно, что не знает даже, как звать о помощи.

Если он выпустит из пальцев перо, подхватит ли его видение, мреющее по другую сторону стола, и начнет ли писать?

Он вспоминает сказанное Анной Сергеевной: «Вы скорбите по себе самому».

Слезы, текущие по его щекам, странно прозрачны, на вкус в них почти не ощущается соли. Если претерпеваемое им есть очищение, то, от чего он очищается, на редкость чисто.

В конечном счете ему не будет дано вернуть мертвого мальчика к жизни. В конечном счете, если он желает встретиться с Павлом, встречаться придется в смерти.

Есть чемодан. Есть белая пара. Где-то она еще существует. Но существует ли способ, позволяющий воссоздать, начав со ступней, тело,

облаченное в белую пару, — воссоздавать его, пока не откроется наконец лицо — пусть даже лицом этим будет воловье рыло Ваала?

Голова у фигуры, сидящей напротив, великовата, она крупнее, чем следует быть голове человека. Собственно, во всех пропорциях ее присутствует что-то отчасти неправильное, некоторая чрезмерность.

Не подцепил ли и он лихорадку? Жаль, нельзя позвать из другой комнаты Матрену, чтобы она потрогала его лоб.

Фигура напротив не вызывает в нем никаких ощущений, никаких решительно. Или правильнее: он чувствует окружающее ее облако равнодушия, как бы мантию мрака. Оттого ему и не удается подыскать для нее имя — не потому, что имя от него скрыто, но потому, что существо это безразлично к любым именам, ко всякому слову, ко всему, что он может о нем сказать?

Сила, исходящая от пришельца, настолько велика, что он чувствует, как сила эта давит его, накатывая безмолвными волнами.

Третье искушение. То, о чем он говорил Анне Сергеевне: я послан сюда, чтобы жить жизнью России. Стало быть, так Россия и проявляет себя — этой силой, этой тьмой, этим безразличием

к именам.

Или же имя, ему недоступное, есть имя того, другого юноши, принять которое он не может: Нечаев? И урок, данный ему, в том-то и состоит: в глазах Божиих нет различия между ними двумя, Павлом Исаевым и Сергеем Нечаевым, равновеликими воробьями? Должен ли он отказаться от последней своей веры в неповинность Павла и признать его истинным товарищем и клевретом Нечаева, неуемным юнцом, безоговорочно принимающим все, что предлагает Нечаев, — не только увлекающий воображение заговор, но и взвинчивающий душу восторг игры со смертью? И если Нечаев ненавидит отцов и ведет с ними непримиримую войну, то не должно ли допустить, что и Павел пошел по его стопам?

Задав себе этот вопрос, допустив, что Павел успел вкусить от начатков ненависти и жажды крови, он ощущает, как и в нем поднимается некая волна — ростки гнева, который содержит в себе ответ Павлу, ответ Нечаеву, ответы им всем. Отцы и дети — враги, враги до смертного часа.

Так он и сидит, оцепенелый. Либо Павел останется в нем ребенком, замурованным в склепе его горя, либо он выпустит Павла на волю со всей его яростью против власти отцов. Дав волю и

собственной ярости против неверия и неблагодарности сыновей, выпустив ее, будто джинна из бутылки.

Это все, что ему удается увидеть, — выбор, лишенный выбора. Он не способен думать, не способен писать, не способен оплакивать никого, кроме себя. Покамест Павел, подлинный Павел не придет к нему незваным, по собственной воле, он так и останется заключенным в узилище своего тела. И никакой уверенности в том, что Павел не приходил уже ночью и не говорил с ним, он не питает.

Павлу дозволено поговорить с ним только единожды. И все же он не хочет смириться с тем, что не будет прощен за свою глухоту, слепоту или тупость, не позволившую ему услышать произнесенное Павлом слово. И потому он вслушивается, ожидая, что Павел заговорит с ним опять. Он верит всею душой, что второго слова не заслужил, что не будет ему второго слова. Но так же, всею душой, он верит, что второе слово придет.

Он знает и то, чем чревата для него вторая ставка на удачу. Проигрышем. Он обязан сделать то, чего сделать не может, — подчиниться всему, что его ожидает, слову ли или молчанию.

Он боится, что Павел заговорит. Он верит, что

Павел заговорит. Все сразу. Лес и бес.

В подобном состоянии духа он сидит за столом Павла, не отрывая взгляда от призрака, чья пристальность столь же нещадна, сколь и его, — призрака, которого ему дано было вызвать к жизни.

Не Нечаев — это он уже понял. Кто-то покрупнее Нечаева. И не Павел. Быть может, Павел, каким он мог бы стать, окончательно распростившись с отрочеством и обратясь в мужчину, красивого, с холодным лицом, мужчину, которого не способна тронуть никакая любовь, ни даже преклонение девочки, «на все для него готовой».

Такая возможность угнетает его. Это не правда или покамест еще не правда. Но от образа Павла, переросшего отрочество, переросшего любовь — переросшего не как человек, а как насекомое, которое целиком меняет свой облик на каждой ступени развития, — по спине бежит холодок. Вглядываться в него — это то же, что опуститься в воды Нила и лицом к лицу встретиться с чем-то огромным, холодным и серым, что могло быть рождено некогда женщиной, но в ходе столетий укрылось в камне и уже не принадлежит к этому миру, отвергая и сокрушая все его представления.

Христос на Голгофе также его сокрушил, но существо, сидящее перед ним, не Христос. Любви он в нем не примечает, только холод и давящее безразличие камня.

Существо это, столь серое, лишенное черт, — его ли обязан он усыновить, наполнить кровью, плотью, жизнью? Или он ошибается, и ошибается изначально? Быть может, это *от него* ожидают, что он отринет все, из чего состоит, все, чем он стал, вплоть до внешнего облика своего, и вновь обратится в младенца? И тот, кто сидит перед ним, станет отцом его, а ему надлежит отдаться отцовскому попечению этой твари?

Если так суждено, если в этом истина и путь к воскрешению, он готов это сделать. Он откажется от всего и, следуя за тенью, войдет, нагой, как младенец, в самые врата ада.

Вновь возвращается видение, от которого он отшатывался весь этот месяц: Павел в морге, голый, изломанный, окровавленный; и семя в теле его также мертво или уже умирает.

Ничего сокровенного не осталось. Стараясь не мигать, он смотрит на Павла, на те части тела его, без которых невозможно никакое отцовство. И в памяти снова всплывает берлинский музей и демоница-богиня, вытягивающая из трупа семя,

чтобы его сохранить.

Тут и настает наконец миг, когда рука с пером приходит в движение. Но слова, выводимые ею, — не слова спасения. Они повествуют о мухах, вернее об одной черной мухе, жужжащей на оконном стекле. Петербург, разгар лета, жаркого, липкого; внизу на улице шум, играет музыка. В комнате лежит рядом с мужчиной нагая девочка с карими глазами и прямыми светлыми волосами, тонкие ноги ее едва достигают лодыжек мужчины, лицо скрыто в изгибе его плеча, девочка зарылась в него, как ребенок.

А кто же мужчина? Прекрасное, как у бога, сложение. Но такая мраморная стужа исходит от него, что обнимаемая им девочка наверняка продрогла до костей. Что до лица его — лица не разглядеть.

Он сидит с пером в руке, удерживая себя от погружения в картины, которым нет места в этом мире, удерживаясь на самом краю падения, сидит, охваченный ощущением мига, в который все творение ложится, открытое, у его ног, — последнего мига перед тем, как хватка его ослабеет и он начнет падать.

Это мгновение из тех, в которые он обращается в тонкого ценителя подобных картин, в сласто-

любца. Из тех, за которые он будет проклят.

Он вскакивает, охваченный нетерпением, вынимает из чемодана дневник Павла, находит первую пустую страницу, неисписанную, потому что сын уже мертв. На ней он и начинает писать, начинает заново.

Он пишет о себе, сидящем в той же комнате, в которой сидит сейчас. Только комната эта принадлежит теперь Павлу, и никому больше. И он уже не он, не мужчина на сорок девятом году жизни. Он снова молод, полон заносчивой юной силы. На нем отлично сшитая белая пара. В какой-то мере он — Павел Исаев, хотя и называет себя другим именем.

Ощущение торжества бродит в крови этого юноши, этого подобия Павла. Он прошел чрез врата смерти и возвратился; теперь он решительно неуязвим. Он не бог, но уже и не вполне человек. В определенном смысле он выше всего человеческого, выше человека.

И через этого юношу начинает писать себя, дом с его затхлыми коридорами и глухими углами, вот этот дом в Петербурге, в России.

Аккуратными прописными буквами он выводит вверху страницы «КВАРТИРА» и далее пишет:

Он спит допоздна, поднимаясь обычно после полудня, когда в квартире становится жарко до того, что простыни намокают от пота. Выбравшись из постели, он плетется в умывальню на лестнице, ополаскивает водою лицо, чистит пальцем зубы и возвращается назад. Небритый, всклокоченный, он поедает завтрак, оставленный для него квартирной хозяйкой (масло уже растаяло, в молоке плавают мошки); следом бреется, надевает вчерашнее белье, вчерашнюю рубашку и белую пару (стрелка на панталонах, пролежавших всю ночь под матрасом, остра, точно нож), увлажняет и приглаживает волосы; и наконец, приуготовив себя к новому дню, лишается всякого интереса к нему, всякого побуждения идти куда-то, и снова садится за стол с остатками завтрака и впадает в тупое оцепенение или, вяло развалясь, чистит ножом ногти и ждет, когда хоть что-нибудь произойдет, когда вернется из школы девочка.

А то еще бродит по квартире, открывая комоды, роясь в вещах.

Под руку ему подворачивается медальон с портретами хозяйки и ее покойного мужа. Он плюет на стекло и протирает его носовым платком. Посветлевшие супруги обмениваются взглядами через пространство их крохотной тюрьмы.

Иногда он зарывается лицом в исподнее белье, вдыхая чуть слышный запах лаванды.

Он записан в университет, но лекций не посещает. Он состоит в «кружке», члены которого практикуют свободную любовь. Как-то под вечер он приводит к себе в комнату девушку. «Нужно бы запереть дверь», – думает он, но не запирает. Они с девушкой предаются любви, потом засыпают.

Какой-то звук пробуждает его. Он понимает, что за ними подглядывают.

Он тормошит девушку, и та просыпается тоже. Оба обнажены, прекрасны в расцвете их юности. Девушка еще раз отдается ему.

Во все эти минуты он сознает, что дверь приоткрыта, что девочка смотрит на них. Наслаждение его обостряется,

увлекая и девушку, – никогда еще не испытывали они подобного темного упоения.

Выйдя, чтобы проводить гостью до дому, он оставляет постель неубранной, предоставляя ребенку возможность осмотреть ее, привыкнуть к запахам любви.

С этого дня и до конца лета он каждую среду под вечер приводит к себе девушку, всегда ту же. При расставании их квартира всякий раз кажется пустой, и всякий раз, он знает это, где-то в ней прячется девочка, которая подкрадывалась к ним, наблюдала или слушала.

– Давай еще раз, – случается, шепчет девушка.

– Что тебе дать?

– Это! – шепчет она, распаленная желанием.

– Сначала скажи, как оно называется. – И девушка говорит. – Громче! – требует он.

Слова, произносимые девушкой, разжигают ее почти до невыносимости.

Он вспоминает Свидригайлова: «Женщина любит быть оскорбленной».

Про себя он называет все это «развитием вкуса» в девочке, как некоторые развивают в себе вкус к необычной пище – к устрицам или к сладкому мясу.

По временам он спрашивает себя, зачем ему это. Отвечает он себе так: течение истории завершается, старые учетные книги будут скоро брошены в огонь, и в это мертвенное время между старым и новым позволительно все. В ответ этот он и сам почти не верит. Но до поры сгодится и такой.

По временам же он говорит себе: всему виной петербургское лето – эти долгие, жаркие, душные послеполуденные часы, мухи, жужжащие на оконном стекле, наполненные комариным зудением вечера. Протянуть бы это лето и зиму за ним, а весной я отправлюсь в Швейцарию, в горы, и стану другим человеком.

Ужинает он с квартирной хозяйкой и ее дочерью. В одну из сред вечером он, изображая веселость, перегибается через стол и треплет девочку по голове. Та отшатывается. Он понимает, что забыл вымыть руки и девочка почуяла запах, со-

хранившийся на них после любовных утех. Покраснев, стараясь скрыть смущение, она утыкается носом в тарелку, чтобы не встретиться с ним глазами.

Все это он пишет ровным, разборчивым почерком, не вычеркивая ни слова. Само писание доставляет ему сегодня острое чувственное наслаждение — ощущение пера, уютно зажатого изгибом большого пальца, но в еще большей мере ощущение руки, бегущей по странице и слегка отпрядывающей назад, следуя строго неизменным очертаниям букв, уставу алфавита.

Аня, Анна Сниткина, была его помощницей, прежде чем стать женой. Он нанял ее, дабы она привела в порядок рукописи, а после женился на ней. Девочка-фея в своем роде, призванная, чтобы выпутать золотую нить из клубка написанных им слов. Если сегодня он пишет столь разборчиво, то лишь потому, что пишет он не для ее глаз. Он пишет для себя. Пишет для вечности. Пишет для мертвого юноши.

И хоть он сидит за столом столь покойно, он — человек, увлеченный смерчем. Бумажная лавина, куски прежней жизни отрываются от него и, кружа над ним, с ревом уносятся по восходя-

щей спирали. Его несет высоко над землей, и на миг, перед тем как объятия ветра слабеют и он начинает падать, ему даруются полный покой и ясность, и мир расстилается под ним, точно карта его души.

Буквы, несомые смерчем. Разбросанные листы, которые он подбирает; разметанное тело, которое он собирает заново.

Стук в дверь: Матрена в ночной рубашке, на мгновение обретшая пугающее сходство с матерью.

— Можно? — севшим голосом спрашивает она.

— Как твое горло, все болит?

— М-м.

Она присаживается на кровать. Даже на таком расстоянии он слышит, насколько затруднено ее дыхание.

Зачем она пришла? Хочет помириться с ним? Выходит, и она тоже изнемогла?

— Павел, когда писал, сидел точь-в-точь так, — говорит она. — В первую минуту я даже приняла вас за него.

— Я кое-что сочиняю и как раз добрался до середины, — говорит он. — Ты не против, если я продолжу?

Девочка тихо сидит у него за спиной, наблюдая,

как он пишет. Воздух в комнате наэлектризован, кажется, даже пылинки замерли и не падают больше.

— Тебе нравится твое имя? — несколько погодя негромко спрашивает он.

— Имя?

— Да. Матрена.

— Нет, терпеть его не могу. Это отец мне такое выбрал. Не знаю, зачем он меня так назвал. Бабушку тоже звали Матреной. Она умерла до того, как я родилась.

— Я придумал для тебя другое. Душа. — Он пишет это слово вверху страницы и показывает ей. — Нравится?

Матрена не отвечает.

— Что на самом деле случилось с Павлом? — спрашивает он. — Ты знаешь?

— Я думаю… думаю, он пожертвовал собой.

— Ради чего?

— Ради будущего. Чтобы стать одним из мучеников.

— Мучеников? Но что такое мученик?

Матрена колеблется.

— Тот, кто жертвует собой. Ради будущего.

— Выходит, и чухонка была мученицей?

Матрена кивает.

Интересно, думает он, Павел тоже стал под конец изъясняться готовыми формулами? Впервые у него возникает мысль, что, может быть, Павлу и лучше было умереть. И он честно, не отступаясь, обдумывает ее.

Война: стариков с молодыми, молодых со старыми.

— Ты, пожалуй, иди, — говорит он. — Мне нужно поработать.

Поставив на следующей странице заголовок «ДЕВОЧКА», он пишет:

Однажды ему приносят письмо, имя и адрес выведены опрятными печатными буквами. Девочка забирает письмо у дворника и оставляет в его комнате прислоненным к зеркалу.

– То письмо – знаешь, от кого оно? – с нарочитой небрежностью спрашивает он, едва они в следующий раз остаются одни. И он рассказывает ей о Марье Лебядкиной, опозорившей своего брата, капитана Лебядкина, и ставшей посмешищем всей Твери, объявив, что некий поклонник, имя которого она, жеманясь, скрывала, просит ее руки.

– Так это письмо от Марьи? – спрашивает девочка.

– Подожди, узнаешь.

– Но почему все смеялись над ней? Почему бы кому-то не захотеть на ней жениться?

– Потому что она слабоумная, а на слабоумных не женятся из страха, что они наплодят слабоумных детей, а те наплодят таких же, и так далее, пока вся земля не наполнится идиотами. Это ведь как поветрие.

– Поветрие?

– Да. Хочешь послушать дальше? Все это произошло прошлым летом, когда я гостил у тетушки. Я услышал рассказы о Марии и ее призрачном обожателе и решил кое-что устроить. Первым делом я сшил белую сюртучную пару, чтобы выглядеть достаточно галантным для принятой на себя роли.

– Вот эту?

– Эту самую. Ко времени, когда костюм мой был готов, все уже знали, к чему идет дело, – в Твери слухи разносятся быстро. Я оделся, взял букет и отправился с

визитом к Лебядкиным. Капитан был озадачен, сестра же – ничуть. Она никогда не теряла веры. После я заходил к ним каждый день. Как-то далее отправился с нею на прогулку по лесу, только с ней, ни с кем больше. А на следующий день укатил в Петербург.

– Так, *значит, вы и были ее поклонником?*

– *Вовсе нет. Поклонник ей попросту приснился. Слабоумные не отличают сна от яви. Верят в сны. Она и меня считала сном. Потому что я, видишь ли, вел себя совершенно как явившийся ей во сне человек.*

– *Но вы еще поедете и повидаетесь с ней?*

– *Не думаю. Собственно говоря, наверно, не поеду. А если она явится сюда и станет меня отыскивать, не впускай ее в дом. Скажи, что я переехал и что адреса моего ты не знаешь. Или дай ей неправильный. Просто выдумай какой-нибудь. Ты ее сразу узнаешь. Долговязая, костлявая, зубы торчат наружу, и все улыбается. В сущности, ведьма ведьмой.*

– Так она про то и пишет – что хочет приехать к вам?

– Да.

– Но для чего?..

– Для чего я все это делал? В шутку. В провинции летом такая скука, ты и представить себе не можешь.

Описание этой сцены отнимает у него не более десяти минут, он не вымарывает ни слова. В окончательном виде она будет длиннее, но для нынешних его целей довольно и этого. Он встает, оставляя два исписанных листа лежать на столе.

Это покушение на невинность ребенка. Поступок, за который ему не будет прощения. Совершив его, он преступил порог. Теперь Бог обязан заговорить, долее молчать Он не посмеет. Развратить ребенка — то же, что совершить насилие над Богом. Лукавый способ, к которому он прибегнул, — это западня: щелчок, и Бог в капкане.

Он сознает, что делает. И в то же время это состязание в коварстве между ним и Богом ведется им вне пределов собственной личности, возможно, и вне пределов души. Сам он стоит в стороне и следит за тем, как он и Бог кружат друг против друга. И время тоже встало и смотрит. Время

замерло, все замерло в ожидании падения.

Мне нет больше места в моей душе, думает он. Он берет шляпу и покидает дом. Шляпа ему незнакома, да и обуви на своих ногах он тоже не узнает. Собственно, не узнает и себя самого. Попадись ему сейчас зеркало, он не удивился бы, обнаружив в нем размытые черты слепо всматривающегося в него чужого лица.

Он предал всех и более полного предательства вообразить не может. Если ему когда-либо хотелось узнать, чем отдает на вкус предательство — уксусом или желчью, — сейчас для этого самое время.

Но никакого вкуса во рту он не чувствует, как не чувствует и тяжести на сердце. Сказать по правде, в сердце его — полная пустота. Этого он не предвидел. Да и как бы мог он предвидеть? Не мука, тупое отсутствие муки. Так вот солдат, простреленный на поле боя — истекающий кровью, видящий кровь, но боли не чувствующий, — гадает: может быть, я уже умер?

Цена, которую пришлось заплатить, кажется ему непомерной. «Ему платят кучу денег за его книги», — повторила девочка слова другого ребенка, мертвого. Оба они не сказали главного — того, что взамен ему приходится отдавать

свою душу.

И наконец он чувствует вкус. Пожалуй, все-таки желчь.

От переводчика.

Павел Александрович Исаев скончался в 1900 г. в возрасте пятидесяти четырех лет.